

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Волжский
роман



Разбитое
зеркало

Волжский роман

Валерий Поволяев

Разбитое зеркало (сборник)

«ВЕЧЕ»

2019

Поволяев В. Д.

Разбитое зеркало (сборник) / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8015-7

Многое видела великая русская река. И люди, живущие на ее берегах либо занесенные сюда судьбой, пережили немало во все времена. Пришлось им и от лютого врага отбиваться, и работать до кровавого пота, восстанавливая порушенное войнами и возводя новое. Солдаты, речники, рыбаки – все они очень разные, но в судьбе каждого из них оставила свой отпечаток Волга-матушка... Книга произведений известного российского прозаика, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова.

ISBN 978-5-4484-8015-7

© Поволяев В. Д., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Письмо с фронта	6
Список войны	43
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Валерий Дмитриевич Поголяев

Разбитое зеркало

© Поголяев В.Д., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Письмо с фронта

Идти до Волги оставалось всего ничего, километров тридцать, наверное, – может быть, тридцать пять. Если бы у Тихонова была карта, он бы сориентировался с точностью до пятидесяти – ста метров, но карты у лейтенанта не было и вел он свою группу, выходящую из ловушки, подстроенной немцами, вслепую.

Места здешние Тихонов не знал, да и на юге России одно степное пространство похоже на другое, как две капли воды, а вместе они похожи на третье настолько, что различить их почти невозможно. Один березнячок, растущий где-нибудь на краю поля, мало чем отличается от второго, такого же, расположившегося в двух километрах, если двигаться к Волге, и от третьего, разместившегося в пяти километрах, и от четвертого, вставшего за оврагом в пятнадцать километров... Таковы околотоволжские пейзажи.

Везде, кругом те же – все те же! – невысокие, страдающие от жары стволы ив с плачущими, опускающимися до земли ветвями, муравьиные кучи с приглаженными, одеревяневшими от времени сорными макушками, сохляя отвердевшая трава – все было до боли знакомо с ранних лет.

Что под Астраханью, что под Сталинградом, что около Камышина, что на казахстанском куске, примыкающем к железной дороге, – все было едино, пейзаж оставался один и тот же.

В группе Тихонова на этот час насчитывалось пятнадцать человек, лейтенант собирал людей по пути, пока двигался, отступая от полевого аэродрома, на котором базировался авиационный полк. Четырех человек потерял по дороге – стычки с немцами хоть и были короткими, но яростными. Хорошо, что фрицы, торопившиеся к Сталинграду, – очень уж хотели они окружить этот город побыстрее и раздавить в своих клещах, – пока не преследовали их, иначе бы от группы ничего не осталось, легли бы все, в том числе и сам лейтенант.

А уже после Сталинграда немцы обязательно нацелятся на заволжские просторы, спят и видят они, как гусеницы их танков кромсают пахнущую чабрецом и полынью степь и гоняют по бескрайним просторам разную здешнюю живность.

У Тихонова, родившегося и жившего на великой реке, от этой мысли в горле возникало нехорошее свербение, словно бы туда насыпали песка и он, протестуя против недобрых дум, сжимал пальцы правой руки в красноречивую классическую фигуру... Кто не знает этой славной фигуры из трех пальцев? Таких людей на белом свете, наверное, нет. Может быть, только те, кто еще не родился?

В неглубокой балке, поросшей лещиной и тщедушным березняком, Тихонов объявил привал. Разнокалиберный служивый народ, пристравивший к лейтенанту при отступлении, ждать второй команды не стал, люди посбрасывали с себя винтовки, вещмешки и попадали на землю, в пожухлую траву. У-уф! Были и такие, кто не имел вещмешка – спалил в огне либо потерял, – такие постарались сгородить себе «сидор», очень простую штуку, которую можно сделать из любого куля или даже наволочки, приладив внизу, к углам веревку, а горловину затянув петлей.

«Сидор», как и вещмешок, – штука удобная и нужная, его очень удобно во время отдыха класть себе под голову, а после обеда сунуть остатки пайка, добытого у фрицев, на дно и сбереечь до следующего обеда. Хорошо в «сидоре» и патроны носить, россыпью, чтобы потом набить ими пару-тройку обойм и почувствовать себя увереннее.

У самого Тихонова, хотя он и считался командиром, вещмешка не было – обходился «сидором», стачанным из куска портъеры, – и нормально чувствовал себя, не жаловался.

Привал еще не закончился, когда наверху, за краем балки, послышался многослойный гул моторов, перебиваемый лязганьем траков. Тихонов поспешно полез наверх, в лещинник, где находился часовой – сержант Стренадько – долговязый парень из города Сталино, лишь десять дней назад выписавшийся из госпиталя. Сержант старался отпустить себе всякие запо-

рожские усы, но это, честно говоря, получалось у него не очень... Во-первых, усы, честно говоря, не хотели расти, а во-вторых, один ус у него был заметно темнее другого и это беспокоило сержанта. Неужели он на всю жизнь останется таким вот – несуразно разноусым, вызывающим улыбку?

– Что тут, Стренадько? – запыхавшись, проглатывая слова, поинтересовался лейтенант, с ходу растянувшись на земле рядом с наблюдателем. Согнулся горбато, давя в себе кашель.

– Танки идут, – тонким, каким-то школярским голосом, – наверное, от напряжения, от того, что рядом находилась опасность, ответил Стренадько и добавил: – Немецкие, – ну как будто Тихонов сам не видел, что за танки пылят по нашей земле.

– Пехота есть?

– Танки идут без сопровождения.

Каждый танк выбрасывал в небо море пыли, – пыль поднималась густыми столбами, мелкая, как мука, рыжеватая, колонна плыла в этой пыли, словно в потоке воды, дышать было нечем. Тихонов приподнялся, прислушался: не трещат ли в танковом грохоте мотоциклетные моторы?

Звонкий стук мотоциклов не проклевывался сквозь гуд тяжелых двигателей, – не было его.

– К Сталинграду прут, гады, – проговорил Тихонов, мрачней, поскреб ногтями сухо затрещавшую щетину на щеках. Хоть и имелся у него «сидор», а бритвы в нем не было (осталась на аэродроме в палатке БАО – батальона аэродромного обслуживания), – хотят обложить город, удавить его вместе с людьми и перекрыть Волгу... Чтобы нам бакинской нефти не перепадало больше ни капли.

Сержант не знал, что на это и сказать – лейтенант был и умнее и начитаннее его.

– Понятное дело, – пробормотал он смущенно.

Среди танков десятка три машин имели странную окраску – песочную, выжаренную солнцем, Тихонов понял: пришли из горячих мест, откуда-нибудь с юга Италии или, может быть, даже из самой Африки. Когда в полку в руки ему попадала центральная газета, он читал ее от заголовка до выходных данных, целиком, в том числе и африканские заметки, где мелькали «туземные» названия – Эль-Аламейн, Мерса-Матрух, Тобрук, Саллум – названия, от которых пахло кокосовыми орехами, раскаленным песком и беспощадным солнцем: немцы схватились в Африке с англичанами, бои шли с переменным успехом.

– Почему танки такие желтые? – не удержался от вопроса Стренадько. – Откуда они?

– Откуда-то из пустыни идут. Видишь – окрашены в цвет песка? Скорее всего – из Северной Африки.

– Эван, – Стренадько удивленно покачал головой и больше ничего не сказал.

Хорошо, когда по пути попадаются леса, пусть и небольшие, по затененным чащам, среди деревьев пробираться легче, всегда найдется укромное место, чтобы спрятаться, да и немцы в какое-нибудь урочище ни за что не полезут, побоятся, а вот двигаться по степи было много сложнее.

В степи человек виден, как на ладони – этакий подвижный силуэт, который можно засечь километром за десять. За таким бедолагой ради интереса может и фашистский танк погнаться, не говоря уже о мотоциклистах, и самолет спикирует, поскольку летчику интересно, как ходячий мухомор будет бегать от него и спасаться, а уж сколько пуль в него могут пустить разные бродяги в немецкой, румынской итальянской и даже в нашей форме – не сосчитать.

И вздыхают солдаты облегченно, если по пути попадается балка, поросшая лещинником, пусть даже маленькая, не глубже кухонной кастрюльки или стирального корыта, либо березовый колок, – народ уже чувствует себя защищеннее, держится увереннее.

Главное было – добраться до Волги, до воды, а где плещется, играя своими неторопливыми водами, великая река, – там свои. Там, в одном ряду с такими же, как и они красноармейцами, окруженцы будут готовы отбить любую немецкую атаку.

Прошли танки, и опустела дорога, хотя мучнистая вредная пыль еще долго висела в воздухе. Выждав немного – не появятся ли мотоциклисты, – группа Тихонова двинулась дальше, к Волге.

Был лейтенант Тихонов человеком хуторским, выросшим на природе, подле реки – и не одной, между прочим, кроме великой Волги хутор их глядел своими окнами в другую речку, меньшего, естественно, калибра, но очень рыбную и теплую, словно бы ее питали какие-то горячие подземные воды. Тихоновы считались семьей казачьей, боевой, жили на хуторе более ста лет, за это время хутор здорово разросся, превратился в настоящее поселение, для самого же лейтенанта хутор был той самой точкой, без которой нет ни детства, ни родины, ни семьи, ни прошлого (как нет и будущего), – ничего нет, в общем. Даже света в окне...

Хутор Большой Фоминский отличался от других хуторов тем, что был полустепным, – там, где текла вода, обязательно росли деревья, а уж камышовых лесов, в которых обитали кабаны и крупные дикие коты, было столько, что через гряды одеревяневших стеблей не пробиться. Можно вообще остаться без рубахи и порток.

Кроме кабанов в зарослях водилось много змей, но змеи почти не были опасны, поскольку с человеком они старались не встречаться и, заслышав вдалеке шаги, уползали в какую-нибудь укромную щель, где человек их вряд ли может найти. А вот каракурты – бархатные черные пауки, чье брюшко на кардинальский манер украшено красным крестом, были опасны очень.

Яд каракурта мог убить кого угодно, даже быка величиной с железнодорожный вагон, – тот мог в несколько секунд откинуть копыта, вот ведь как.

Если в году выпадала теплая зима, то летом каракурта можно было встретить даже в собственном дворе, а уж чуть подальше, за огородами, их могло оказаться больше, чем комаров на покосе.

Тихонов шел в группе первым, старался схватывать все приметное, что попадалось ему на глаза – фиксировал, запоминал. Делал это на всякий случай – мало ли для чего и в какой непостоянный момент это может пригодиться. Засакал воронки от крупных авиабомб, окопы, которые были вырыты наспех и тут же брошены, смятые противотанковые пушки-сорокапятки, иногда раскрывал планшетку, заносил пометки на бумагу.

Дорогу облегчали различные воспоминания, с ними шагалось проще и быстрее.

А змеи... Ну что змеи? Они вообще-то – веселые существа, которые хоть и стараются не встречаться с человеком, но встречи все-таки происходят и, если им предлагают дружбу, – предложение принимают.

Как и на хуторе, так и здесь, было много душистого чабреца – лечебной травы, оберегающей людей от дурных привычек и алкоголя, полыни – жесткая, она растет густо, как рожь в поле, – часто встречается и верблюжья колючка, легко протыкающая шины у «эмки», стоит только на «траву» эту наехать.

А верблюды колючку любит больше всего, от мягкой свежей травы вообще воротит физиономию в сторону. У него своя психология и свои привычки, на губастой морде при виде мягкой травы часто бывает написано брезгливое выражение: трава хоть и зеленая, сочная, а есть нечего.

Когда началась война, верблюды исчезли – то ли их, как и мужиков из городов и сел, забрали на фронт, то ли за бесполезностью отогнали на восток – пусть экзотические звери сохраняются там.

Раздраженный на человека верблюд может харкнуть так, что тому потом не менее двух дней надо будет отмываться от слизистого вспененного плевка.

Змеи тоже часто заползали на хутор, старались улечься где-нибудь на солнышке, затаились, считая, что их никто не видит, но непрошенных гостей все равно обнаруживали. Либо куры, либо собака с кошкой и поднимали большой шум. Единственный человек на хуторе, который не боялся змей, был Колька Тихонов.

Однажды в Енотаевке, куда он ездил с отцом в заготовочную контору с телегой дынь, чтобы сдать сладкие плоды на вяление, он увидел приценивающегося к вяленой рыбе франта, наряженного в штаны из модной рогожки, при темном галстуке, повязанном под воротник тенниски. Галстук удивил Кольку больше всего. Он был сделан из высушенной змеиной кожи.

Тут и зашла Кольке в голову мысль: а неплохо бы и себе соорудить такой галстучек, а! Раз уж в Енотаевке и в Астрахани ходят разрисованные по всем правилам изобразительного искусства модники, то хуторскому Кольке Тихонову сам бог велел таким галстучком обзавестись... Тем более что сырье можно найти под любым кустом.

Можно было, конечно, присмотреть на галстук шкуру, которую змея уже сбросила, Колька знал несколько мест, где этих шкурок было, как обрезков под швейной машинкой у хорошего портного, – лежали в несколько слоев, но шкурки эти были уже дряблые, сморщенные, для щегольского галстука не подходили, все они были второго или даже третьего сорта, поэтому надо было искать живую змею, желательно с красивым одеянием.

Лучше всего для галстука подходили два рода змей – яркие пестрые гадюки, живущие в лугах, где от ранней весны до поздней осени благоухают самые разные цветы от анютиных глазок и одуванчиков до кукушкиных слез, альпийского горошка и пастушечьих сумок, и змеи черные, лаково-блестящие, будто вырезанные из свежего антрацита, неведомой породы. Эти змеи любили жить в низких сырых местах, ловили там рыбу, лягушек, иногда поднимались чуть выше и питались там мышами. Ядовитые змеи эти, как слышал Колька, тоже происходили из породы гадюк.

Колька присмотрел большую черную змею и, когда та задремала на солнышке, взял рукав от старой телогрейки и постарался бесшумно атаковать ее.

Бесшумной атаки не получилось, змея почувствовала человека, распахнула большой опасный рот, сжалась в пружину и готова была прыгнуть, Колька, поняв, что сейчас произойдет, поспешно сунул в пасть змее ватный рукав.

Та вцепилась в него зубами, Колька ловко рванул рукав на себя, и гадюка мигом лишилась двух длинных, кривых, как шила для починки обуви, ядовитых зубов. Колька просто-напросто выломал их.

Следующие два зуба, начиненные ядом, появятся у змеи не раньше, чем часа через полтора, а когда и они будут выломаны привычным для Тихонова методом, то со змеей можно будет обращаться, как с обычной веревкой, – беззубая, она никому не причинит вреда, будет только шипеть да пытаться уползти куда-нибудь в укромное место, поскольку очередные ядовитые кривулины появятся у нее лишь через два месяца.

– Ну чего, подружка? – бесстрашно поинтересовался Колька, догоняя пытавшуюся удрать чернокожую красавицу. – Не торопись, спешить тебе некуда.

Ухватил змею за хвост, подтянул к себе и, намотав конец на кулак, чтобы змея не соскользнула, со всего маху ударил ее головой о сохлую, твердую, как дерево, кочку.

Змея пискнула, распахнула рот широко и скисла, словно бы из нее выпустили воздух.

– Что и требовалось доказать, – вспомнив школьные уроки по алгебре, проговорил Колька и поволок змею себе во двор на разделку.

Там он первым делом измерил змею – годится ли для галстука, – причем галстука длинного, такого, чтобы конец закрывал пряжку ремня на брюках. Змея была длинная, годилась не только для пацана, но и для взрослого человека, – один метр тридцать четыре сантиметра.

Для обдирки и вообще проведения всяких операций, требующих острого лезвия, у него имелся остро наточенный ножик, сделанный из обрезка старого сломанного обеденного ножа, занимавшего когда-то почетное место в ряду столовых приборов. Оглушенная змея даже очнута не успела, как оказалась без одежды.

Красивая змея эта оказалась не пустая, а с начинкой, внутри ее, в полости живота находилось двенадцать разбухших яиц. Кожица у яиц была мягкая, вялая, и Колька понял, что змея должна была вот-вот разродиться детенышами.

Недолго думая, Колька распластал ножом одно кожистое яйцо. Внутри шевелился похожий на большого дождевого червяка-выползка змееныш.

Колька почувствовал, как в глотке у него, в самом низу, шевельнулось что-то тошнотное, холодное, он принял это ощущение за проявление слабости и быстро одолел себя. Выковырнул второе яйцо, интересно было – там все то же, что и в первом яйце, или, может быть, какая-нибудь диковинная черепашка, с удовольствием проглоченная мамашей, – но нет, ни черепашки, ни лягушки, ни страшноватого ногостого тритона там не было, обитал такой же подслеповатый змееныш.

Довольно быстро Колька вспорол все яйца, что находились в змеином чреве, а сам начал чистить мамашу.

От антрацитовый шкурки надо было целиком отделить мышечный слой, все мясные крошки и кусочки, снять все дочиста, иначе галстук протухнет.

Его еще надо было обработать мукой, квасцами, наждаком счистить тонкую подкожную пленку, доверить нежную работу эту ножу было нельзя – лезвие может оставить порез, – затем снова обработать мукой, кожица должна быть мягкой, не поддаваться ни плесени, ни гниению, не то изделие прокиснет, превратится в неведомо что, поэтому Колька трудился особенно усердно.

Работой он увлекся и совсем не заметил, как выпотрошенными червяками, быстро обсохшими на солнце, заинтересовались куры.

Пока куры размышляли, пытаясь понять, что это такое, на передний план вылезли курята – весенний выводок, который к осени, к сентябрю уже здорово подрастал, курята были бойкие, горластые, длинноногие, всегда голодные; увидев вполне аппетитных мясистых червяков, расправились с ними так стремительно, что взрослые куры сказать им ничего не успели, лишь глазами молча хлопали, удивлялись, как шустрые детишки расправляются с неведомым кормом... А если этот товар был приготовлен для выставки?

Удивительная штука – только что были червяки, шевелились, обсыхая на солнце, – и вдруг не стало их.

Дело нарисовалось нешуточное, и куры начали волноваться, квохтать и расквохтались не на шутку – а вдруг курятам будет плохо, копытца откинут, глаза закатят, – в общем, устроили маевку, желая видеть ветеринара.

Вместо ветеринара на встревоженный куриный клекот вышла бабушка Серафима Степановна, натянула на нос старенькие очки в потрескавшейся оправе и недоуменно уставилась на кур: чего надо?

Неведомо, что они ей сказали, только бабуля, сморщившись, словно печеное яблоко, подозрительно покосилась на внука.

– Ты ничем их таким... – она демонстративно помяла пальцами воздух, – догадливая все-таки была бабушка Сима, – ничем их не кормил?

– А чем я мог их кормить? – Колька недоуменно уставился на нее, потом вспомнил, что он же не только выскреб змею изнутри, но и вылушил ее, вскрыл все яйца до единого... Только не думал он, что курята окажутся такими смышленными и проворными и смолотят змеиный выводок, как обычных червяков с огуречной грядки. Ничего от выводка не осталось.

Тут бабушка Сима присоединила свой голос к куриному хору. Куры, поняв, что дело принимает еще более серьезный оборот, чем они думали, также начали поносить Кольку на все лады. Серафима Степановна горестно прижала передник к глазам:

– Подохнут ведь цыплята... Может, их зарубить? Но они же еще ничего не нагуляли, рано рубить – у них только кожа да кости... Даже супа не сварить. Может, обойдется, Коль? – Она с надеждой посмотрела на внука. – А?..

– Обойдется, – уверенно молвил Колька, – вот увидишь, бабунь.

– Чего они хоть съели-то?

Колька показал шкурку, которую обрабатывал.

– Да вот... Из этой требухи я приплод выковырнул – штук пятнадцать змеек было. Не заметил, как курята их склевали. Виноват, бабунь, проворонил.

– Подохнут куры. Ведь змеята-то – ядовитые.

– Да яду у них, невылупившихся – на один чих. Даже комара убить не смогут, скорее комар сам убьет их. И съест...

– Ох, Колька!

А курята тем временем носились по двору, сытые и довольные, будто у хмурого петуха, главы всего куриного семейства, отняли пару денежек и купили себе мешок кормовой пшеницы – дела пошли, в общем, в гору. Подыхать они совсем не собирались, наоборот, были такие бодрые, что ночью теперь вряд ли уснут.

Колька был прав, детеныши еще не были ядовитыми, не успели ими стать, бабушка Серафима Степановна таким исходом была довольна. А курята ее, склевав неведомых червяков, за какую-то неделю сделались размером со своих мамаш, а отдельные особи даже больше мамаш – имелось в змеином мясе чего-то такое, что готово было превращать лилипутов в гулливеров.

Земляная полоса, по которой шли танки Гудериана, была широкой, как бескрайнее колхозное поле, мягкое-пермятое, с верхним плодородным слоем, превращенным в пыль, который готов был с любым ветром унести отсюда и без всяких преград достичь далекой водной глади, к которой так стремились люди... Лишь бы ветер не терял своей силы.

Полосу бойцы Тихонова пересекли удачно, не засветились, нырнули в захлавленную балку и, уже находясь там, увидели в воздухе четверку хищных «мессеров», идущих на малой высоте. Судя по рыскающему полету, немцы на кого-то охотились. И точно. В полукилометре от залегшей группы они выгнали из канавы двух красноармейцев с винтовками и, подстегивая их короткими пулеметными очередями, заставили бежать в сторону громяющих вдаль танков.

Один из красноармейцев бежал шустро, привычно творил зигзаги – возможно, уже побывал дичью в подобной охоте – пилоты люфтваффе любили гоняться за усталым и оборванными людьми, как правило, – окруженцами, потерявшими надежду выйти к своим, – и не отставали до той минуты, пока бедняга, просеченный очередью из крупнокалиберного пулемета, не падал бездыханным на землю.

Крупный калибр плоть не щадил, всадившаяся в человека пуля могла легко оторвать ему голову, отрубить половину плеча или превратить в мясную рвань бок. Тихонов видел, как самолетные пули делили человека на страшные, плюющиеся кровью куски, – даже воздух на несколько мгновений делался красным, запах его сдавливал глотку.

Первый красноармеец бежал проворно и рисовал зигзаги, а второй, тяжело скребя кирзовыми сапогами по земле, вдруг остановился и, сдернув с плеча винтовку, саданул из нее по винту накатывающегося сверху верткой машины.

Он хотел сквозь винт просадить колпак пилота и попасть в летчика.

Не получилось. Красноармеец присел на колено, сделал второй выстрел. Почти в упор в ревущую громадину, наваливающуюся на него из воздуха почти вертикально – слишком увлекся немецкий пилот, пытаясь едва ли не таранить русского солдата.

Дал одну очередь, вторую – не попал. Попал с третьего раза, когда выводил «мессер» из вертикального полета, пехотинец сам насадился на пулеметное дуло, немцу оставалось только надавить на гашетку.

Немец и надавил. Брызжащая дымом и рыжей, словно бы электрической каплей струя всадила точно в русского солдата, просекла его в нескольких местах, вырывая из тела целые ошметки, пехотинец задрал голову, стало видно его крупное небритое лицо, черный, беззвучно распахнутый рот, искаженный болью, некоторое время он бежал по инерции, даже руками взмахивал, помогая себе в беге, потом изо рта выплеснулся целый фонтан крови и красноармеец ткнулся головой в сухую жесткую пыль.

Напарника его, также извлеченного из укрытия, не было видно, Тихонов глянул в бинокль и очень скоро нащупал два стоптанных сапога, торчавших из мелких грязных кустиков, – смерть тот принял на несколько мгновений раньше своего товарища.

Покрутившись немного над разбитой местностью, «мессеры» пронеслись над балкой, где лежали тихоновские бойцы, ничего подозрительного не засекали – скорость помешала, раздвинулись малость, чтобы не зацепить друг друга плоскостями и понеслись дальше – продолжать охоту.

– Подвесить бы их за мошонки, – лежавший рядом с Тихоновым сержант Стренадько выругался и, отвернув голову в сторону, сплюнул, – чтобы мозги свои просушили.

– Бесплезно, этим людям уже ничего не поможет, даже могила. Они и на том свете будут убивать беззащитных – порода такая.

– И вывел же кто-то эту породу...

– Кто вывел – известно.

– Пора идти, товарищ лейтенант.

– Рано еще. «Мессеры» скоро вернутся.

– Разведка доложила, товарищ лейтенант?

– Да повидал кое-чего на фронте, – Тихонов усмехнулся невесело, – если бы не видел сам, то, наверное, и не знал бы.

Он оказался прав. Минут через десять «мессеры» с желтыми, испачканными маслом фюзеляжами, дребезжа, на высокой скорости пронеслись над измятой танковыми траками местностью, километра через три, прежде чем обратиться в шустрых небольших стрекоз, свернули налево и удалились в сторону Волги.

Сделалось тихо, ничего не стало слышно, даже глухой, не прекращающейся на востоке глухой канонады – там немцы пытались пробиться к Волге, да из попыток их ничего не получалось, всякий раз пролетали мимо, словно пара грязных чертенячьих кошелок над церковью.

– Мда-а, – горько протянул Тихонов. – Четыре самолета на двух полубезоружных солдат... Это какие же мозги должны иметь летчики? Что у них в черепушках?

– Плохо проваренная каша. Шрапнелью называется, – угрюмо пробурчал Стренадько. – Причем запровлены черепа такой шрапнелью, что ее никакая камнедробилка не возьмет.

– Если закачать жидкую перловку, то тоже ничего хорошего не получится. Ну, все, пошли дальше.

– Скорее бы добраться до наших, – вздохнул с зажатой тоской Стренадько, – своих увидеть очень хочется. Надоели фашистские рожи.

Двинулись дальше.

Следующую полосу земли, бывшую до войны пшеничным полем, донельзя измятую гусеницами, также перегородили танки, идущие к Сталинграду. Серые, покрытые неряшливой лохматой шкурой пыли, с грязными солдатами, похожими на марсиан, – к запеченным физионо-

миям у них были припечатаны большие очки-консервы, не пропускавшие не только пыли, но и, наверное, солнца, танки грохотали так, что у лейтенанта начали болеть зубы. Солдаты безбоязненно горланили, палили из автоматов во все живое, что попадалось на глаза, ни одна ворона не могла прошмыгнуть мимо, швырялись пустыми консервными банками и стекляшками из-под пива.

Снова пришлось залечь. Место подвернулось удачное – такое, что ни сверху, ни сбоку, ни сзади нельзя было подобраться незаметно... Балка. Даже расставив глаза враспыр, с обзором в триста шестьдесят градусов, – и то нельзя было накрыть группу, используя фактор внезапности. Хотелось есть.

Пошарив пальцами по земле, Тихонов отщипнул ногтями у корня один нарядный ярко-красный стебелек, еще не превращенный солнцем в жесткий одеревяневший хвост.

– Вот этот корм можно есть, – сказал он, обтер стебелек пальцами, откусил макушку. – Вкуса особого нет, но ощущение голода задавить можно, – быстро сжевал стебель, прислушался к себе: в пресном стебле почудился сладковатый чайный привкус, далекий, едва приметный, чай пить с ним, конечно, было нельзя, но что-то приятное в траве этой имелось.

Стренадько потянулся к другому ползучему стеблю, сорвал его и, обдув наскоро, сунул в рот. Разномастные жидковатые усы его зашевелились, он похрумкал травой, замер, словно бы обнаружил что-то внутри себя и теперь слушал настороженно: а чего, собственно, там, внутри организма, творится?

– Как растение величается, товарищ лейтенант?

– Это южный сорт лебеды... Под Астраханью эту лебеду зовут цыганкой – из-за красной одежды. И цветы у цыганки тоже красные, очень яркие. На солнце лебеда не выгорает – цыганка, словом.

Один из танков – громоздкий, с мощным стволом, скорее всего не танк это был, а самоходка, слишком уж устрашающе-неуклюжий вид он имел, – круто развернулся и пошел на балку, в которой засели бойцы Тихонова; край балки был обозначен редкими облезлыми кустиками и отчетливо виден механику-водителю, сидевшему в башне.

Сотрясая землю гусеницами, самоходка двинулась по краю и, низко опустив орудие, начала соскребать стволом кусты с бровки и оголять край, чтобы ничего не мешало разглядывать сырое дно балки. Самоходка была такая тяжелая, что когда она шла, то людей, находившихся ниже, в щелях и выбоинах, сдавливало, вызывая опасный озноб, притискивало друг к другу. Тихонов думал, что самоходчики сейчас не удержатся, пальнут вслепую и не промахнутся – половина его группы сгорит. Снаряд у экипажа находился в стволе, надо было только дернуть спуск, но самоходка стрелять не стала, поползла дальше.

Минут через пять она заревела по-сатанински, заплевала воздух черными вонючими кольцами и ушла.

Стренадько отер тыльной стороной ладони лоб.

– Пронесло. Только мороз под мышками остался. Завалить бы эту гадину в овраг... Вверх гусеницами, чтобы ни мышей, ни сусликов больше не пугала.

Пыль, оставленная танками, до конца не оседала – была слишком мелка, – часть ее, невесомая, переливающаяся, будто попадала в таинственный отсвет, может быть, даже потусторонний, оставалась висеть в воздухе, шевелилась, как живая, исчезать она совсем не думала.

От маршрута отклонилась только одна гусеничная дура, вздумавшая проверить балку, а остальные продолжали идти прежним маршем, ползли непрерывно, воняли бензином, кромсали все, что оказывалось по пути – сараи и плетни, колодезные срубы и колхозные овчарни. По разумению фрицев, чем хуже было у русских – тем лучше.

Главное для фрицев сейчас – завоевать эту землю, счистить с нее мусор, людей здешних, – народы местные они считали мусором, – а когда опустеет, очистится земля, они быстро

заселят ее своими людьми, качественными и мозговитыми. Говорят, господин Геббельс со своей командой уже занимается этим.

Время тянулось медленно. Лейтенант оглядел одну сторону балки, потом другую. Судя по рельефу, тут тоже могли быть красивые, с редким рисунком змеи... Чтобы хоть чем-то занять время, рассказал Стренадько о моде на змеиные галстуки.

– Я знал одного горделивого модника, который ходил со змеиным галстуком на рубашке. – Сержант покашлял в кулак. – Очень изящный был галстучек – загляденье просто, – голос у Стренадько сделался таким, будто его одарили сладкой плюшкой. – А вы, товарищ лейтенант, свой галстук долго носили?

– Недолго. Во-первых, его все время приходилось прятать от кошки – очень уж она хотела стрескать мое украшение, во-вторых, чего-то я напутал, когда выделывал кожу, чего-то не добавил, либо, наоборот, переборщил – галстук мой сгнил. Так и пришлось скормить его кошке, чего она, собственно, и добивалась. Все закончилось кошачьим поносом.

Перейти танковый тракт удалось только к вечеру, когда «одни гусеницы уже отгрохотали, а другие еще не пригрохотали», как скаламбурил Побежимов – младший лейтенант, который шел вместе с Тихоновым с разбомбленного аэродрома. Прошли много: километров сто – сто двадцать, не меньше.

Хоть и окончили они оба пехотное училище в Киеве, а служить попали в батальон аэродромного обслуживания, где никаких стратегических или тактических задач перед ними не ставили и главным делом было одно: охранять самолеты, аэродром, расставлять дежурных по постам, менять пароли и следить, чтобы солдат вовремя кормили.

Были случаи, когда к аэродрому очень близко подбирались разные диверсионные группы, но не настолько близко, чтобы закидывать самолеты гранатами. Тихонов, командовавший усиленным взводом, эти попытки успешно пресекал.

Более того, как-то он пошел в город старшим патруля – дежурить, поскольку в тихом городке их участились разные нехорошие случаи: как-то убили двух красноармейцев, возвращавшихся в свою часть из госпиталя, через несколько дней был подожжен сахарный завод, потом отравлен один из колодцев и так далее – в общем, завелся в городке чужой народ, который так и норовил засунуть в любую дымовую трубу гранату.

У лейтенанта перед своим патрулем было одно преимущество – он знал немецкий язык: в пехотном училище добровольно окончил специальные годовичные курсы. Умные люди считали, что будет война, ее не избежать, и готовили к ней своих солдат. К языку у Тихонова оказались способности, к концу учебы он уже шпыхал по-немецки не хуже какого-нибудь уроженца Нижней Саксонии или долины реки Рейн.

В городке в тот вечер было спокойно, народа на улицах было мало, шумели тополя, а плакучие ивы, росшие вдоль тротуаров в центре, размеренно и горько наклоняли к людям свои макушки, словно бы чувствовали какую-то беду.

– Бойцы, ухо прощу держать остро, – предупредил Тихонов своих патрульных, – обстановка в городе непростоя.

Хоть и казались тихие улицы почти безлюдными, но все же кое-где можно было засечь прохожих. Минут через десять Тихонов увидел впереди двух бойцов в форме НКВД – вполне возможно, это также был патруль, ведомственный, так сказать. Увидев группу Тихонова, энкаведешники поспешно свернули в проулок.

Тихонова словно бы что-то кольнуло, сбilo дыхание – энкаведешники никогда не вели себя так, они всегда действовали нагло, с напором, чему не мешало даже отсутствие мозгов в голове, в своей правоте были уверены на двести с лишним процентов и чуть что – хватались за оружие, старались завести подозреваемому лытки за спину и перетянуть запястья прочной веревкой.

«А ведь это не энкаведешники, – мелькнуло в голове у лейтенанта, – для этого у них наглости не хватает». Хотя внешне все было в порядке – за плечами вещмешки, оружие при себе... Для командированного человека это вполне обычный вид. И лица вроде бы нашенские, русопятые, со вздернутыми деревенскими носами, рыжеватыми сельскими чубчиками «а ля мой любимый бычок», выпущенными из-под фуражек.

– Айда за ними, – не по-уставному скомандовал Тихонов патрулю, – этих ребят надо проверить. Несмотря на свой сельский вид, они все-таки похожи на любителей баварских сосисек, – нырнул под низко склоненный шатер плакучей ивы, откуда засек тропку между двумя огороженными огородными участками, спугнул пару куриц, любовавшихся друг дружкой (понабрались дурехи городских манер, готовы себе даже бровки с ресничками подводить), и первым выскочил на соседнюю улицу, как две капли воды похожую на параллельную...

И не просто выскочил, а очутился прямо перед подозрительными бойцами НКВД.

– Предъявите ваши документы, – невозмутимо, без всякого выражения в голосе потребовал Тихонов. – Из какой части будете?

Старший из двойки, сержант с парадными рубиновыми треугольниками, украшавшими его петлицы, не замедлил нахмуриться:

– Что-то не так?

– Все так, просто – обычная комендантская проверка.

Смутили Тихонова еще и энкаведешные фуражки: яркий голубой верх – символ чистоты еще с царской России и красный околыш, козырьки не вытертые, лаковые – фуражки были новенькие... Значит, только что со склада.

Имелась еще одна деталь – как правило, уходя в поле и тем более – в зону боевых действий, энкаведешники экипировались в обычную полевую форму, фуражки надевали тоже обычные, неказистого защитного цвета, в своих роскошных картузах эти ребята щеголяли только в Москве, да еще, может быть, в городах глубокого тыла, а сюда роскошным фуражечкам этим не было никакого хода из-за демаскировки.

– Где находится ваша воинская часть? – рассматривая документы, спросил Тихонов невозмутимо и негромко.

– Это ведь секрет, товарищ лейтенант, разве вы не знаете?

– Для комендантской службы секретов нет – это раз, и два – что-то уж очень далеко вы уехали от своей воинской части, – он дал понять этим сельским чубчикам, намаженным бриолином – мазью, с которой в селах не знакомы вообще, что хорошо знает, где конкретно располагается в/ч 4632 (у Тихонова там училищный однокашник Юрка Казарин командовал взводом, поэтому лейтенант и ведал, где находится далекая в/ч, это было совпадение).

Энкаведешники переглянулись. Тот, чьи петлицы были украшены сержантскими треугольниками, глянул на напарника.

Перекидка взглядами была командой.

– Об этом, товарищ лейтенант, надобно у начальства нашего поинтересоваться, отчего оно нас в такую глубь загнало?

– Спросим, – сказал Тихонов, заходя за спину энкаведешному сержанту. Второй энкаведешник, напарник сержанта, был по этой части человеком попроще, – и рот распахивал не по делу, и говорил не то, но Тихонов засек совсем другое: когда напарник сержанта волновался, то в его речи проскальзывал заметный акцент и этот акцент был не местечковый, не русский...

Значит, имеют эти два колхозника отношение к передовым частям товарищей Буденного или Ворошилова примерно такое, как Тихонов к плетению ковриков из соломы где-нибудь в Ганновере или Ростове.

Напарник Тихонова подхватил разговор, задал пару быстрых и толковых вопросов, один за другим – сообразительный был парень, старший энкаведешник почувствовал себя не в своей тарелке, отступил немного назад и опустил руку под край гимнастерки, к брючному ремню.

В то же мгновение Тихонов перехватил руку, хотя пальцами энкаведешник успел ухватиться за рукоять пистолета, спрятанного под ремнем.

Второй пистолет находился у него в кобуре – вооружены эти люди были капитально.

– В комендатуру их! – скомандовал Тихонов.

Энкаведешник засипел, дернулся, попробовал применить контрприем, но не тут-то было: Тихонов с такой силой сдавил ему пальцы, что чуть не размял их о рукоятку ТТ, энкаведешник не выдержал, едва не захлебнулся воздухом, который в него будто бы ударом вбило.

– Хы-ы-ы!

Напарники Тихонова по патрулю вдвоем навалились на второго энкаведешника, вывернули ему руки и с силой задрали вверх, чтобы не вздумал, как и его шеф, пустить в ход какой-нибудь прием, – получились «салазки».

Человек, у которого руки замкнуты в «салазки», имеет один путь-дорогу – мордой в ближайшую навозную кучу.

Через двадцать минут задержанные уже находились в комендатуре. И если по дороге они могли хоть как-то изловчиться, прыгнуть куда-нибудь в кусты или быстроногой вороной перенестись в кузов проезжающей мимо полуторки, то из комендатуры путь у них был один – на тот свет.

На следующий день Тихонова вызвал к себе замкомбата со смешной фамилией Циклер, предложил сесть. Глаза у Циклера были большие, по-библейски печальные, словно бы ему пришлось пережить нечто такое, чего никто никогда не переживал и что даже во сне увидеть было невозможно, а если такое неожиданно случилось, то покорно испустить дух, другого пути не было.

– Вы где так хорошо обучились боевой борьбе? – спросил Циклер.

– В Киевском пехотном училище.

– Недурно, недурно, лейтенант, – сказал Циклер. – Командир взвода вы хороший, лучше не найти, но мы вынуждены перевести вас в другое место, приказ будет подписан сегодня же. Нам очень нужны люди, владеющие боевыми искусствами. В группе по обнаружению диверсантов – острая нехватка. А это, лейтенант, плохо. Диверсанты немецкие нас могут вообще задавить, они совсем обнаглели. – Циклер помолчал, побарабанил прокуренными пальцами по столу, спросил неожиданно: – А как вы их нащупали, товарищ Тихонов? Ведь то, что они пришли к нам пакостить, на лицах их не написано, лица-то – обычные, крестьянские: точка, точка, запятая, минус – рожица кривая, – продекламировал Циклер, улыбнулся чему-то своему, – ничем от наших лиц не отличаются. . .

– У нас на занятиях подробно рассказывали о немецких диалектах и акцентах, у меня слух на этот счет идеальный, запоминаю звуки хорошо, вот я и запомнил. Пленные говорили на русском языке с хорошо выраженным баварским акцентом, вот и все. Осталось только крышкой накрыть насекомых, товарищ капитан. Все остальное – дело техники.

В тот же день Тихонов был переведен из батальона в спецгруппу по обнаружению диверсантов, а еще через некоторое время назначен помощником тренера по рукопашному бою.

Жизнь – штука удивительная, зигзаги иногда рисует такие, что и удивлению места не остается – фантазии не хватает на странные выверты и причуды. Ну кто бы мог подумать, что он, пехотинец, станет носить форму с голубыми летными петлицами?

В ночи, когда затихли и небо и земля, а восток мрачно, очень тускло озарялся огнями больших осветительных ракет, повисающих на парашютах, группа поднялась, попрыгала на месте, чтобы не было слышно ни стука, ни бряканья – ничего чтобы не выдало ее, – двинулась дальше. В сторону Волги.

– Долго нам еще идти? – глуховато, держась рукой за ушибленную осколком голову, спросил старшина Нечипоренко.

– Да если без помех, с легкими привалами, то ерунду – к завтрашнему вечеру могли бы быть у своих, но при нынешних обстоятельствах придется еще дня четыре попыхтеть. Ты же видишь, Иван, всюду немцы. Нам их не обойти никак.

– Да вижу все, – с досадою крикнул старшина.

– А раз видишь, то – вперед! Без страха и упрека.

Тихонов по обыкновению шел первым – он и подготовлен для этого был лучше других, и кулаком мог изуродовать противника почище, чем другой пистолетом, и умел лучше всех ориентироваться, а главное – загодя чувствовал опасность. На расстоянии.

В Киеве, в училище, ему на спор завязывали глаза и заставляли бегать во всю прыть среди деревьев. И Тихонов ловко, с плотной повязкой на глазах, на бегу безошибочно обходил деревья, ни разу не задел ни одного ствола. Курсанты дивились: как же это так удастся? А вот так!

Таинственными сенсорными способностями обладал курсант Тихонов. Ему явно светила прямая дорога в разведчики.

Он бежал вслепую, все предметы, попадавшиеся по пути, ощущал едва ли не кожей своей, чувствовал изгибы стволов, набегавшие на него, издали засекал ветки, особенно колючие и цепкие, способные выдрать глаза и превратить уши в обычную лапшу, фиксировал подкатывающиеся под ноги пеньки, ямы и перекладины из досок, которые дотошные курсанты пробовали ставить у него на пути.

Да-а, редкостными способностями обладал курсант Тихонов. Его хотели перевести в кавалерийское училище, там было отделение разведки, но он отказался – Тихонова вполне устраивала матушка-пехота. На него попробовали нажать: корни-то у тебя, Тихонов, казачьи, отчего же ты нос в сторону от лошадиного хвоста и потертых стремян воротишь? Нехорошо, мол, товарищ Тихонов!

Но Тихонов твердо стоял на своем – у казаков, дескать, свои пешие были всегда... Да какие пешие! Их боялись солдаты всех армий мира, поскольку лучше борцов, чем казачьи пластуны, не было. Он стал первым борцом в своем училище, да и лейтенантские кубари в петлицы получил первым.

Втихую, делая петли, чтобы не наткнуться на немцев, они прошли километров пять (впрочем, если учитывать петли, то наберется не пять, а все десять, а то и двенадцать километров, но петли в счет не берутся, да и у людей прибавилось немного сил, поскольку уже ощущался запах Волги), когда лейтенант заметил впереди движение какой-то странной длинной тени, будто дорогу им пересек высокий, сильно изогнувшийся, почти расстелившийся по земле человек.

Следом Тихонов услышал едва приметное звяканье металла, тотчас же остановился и присел.

Когда присаживаешься, делаешься ближе к земле, то даже маленькие деревья становятся большими, видно бывает очень многое, даже детский самокат превращается в грузовик, да и крохотные предметы обретают величину.

Лейтенант глянул назад – группа, двигавшаяся за ним цепочкой, также остановилась и присела.

Длинная ползучая тень, возникшая у него на пути, больше не появлялась. Но ощущение опасности, находившейся впереди, не пропадало. Кто там – люди, звери?

Тихонов поднялся, сделал несколько шагов и вдруг услышал злое, какое-то трескучее, даже дребезжащее, старческое рычание. Лейтенант отпрянул назад, вскинул трофейный «шмайсер». Вгляделся в пространство, вслушался в него и понял, что это – волк, который ходит по местам, где были раздавлены люди, и живится тем, чем может поживиться.

Поле деятельности у него было большое. У одного трупа он отъедал одно, ногу или руку, у второго другое, кусок плеча или половину ягодицы, чавкал, рычал и, если появлялись люди,

хромая на одну лапу, отбегал в сторону. Это когда-то он мог на равных состязаться с людьми, сейчас – нет.

– Пошли, пошли, – шепотом скомандовал Тихонов и, подождав, когда волк исчезнет, держа автомат наготове в руке, двинулся дальше.

Рычание исчезло – волк отковылял метров на двадцать в сторону и прижался брюхом ко дну какой-то канавы – путь был свободен.

Конечно, по всем уставным законам лейтенант должен был выставить охранение, хотя бы передовое (боковое охранение тоже было бы неплохо иметь), но людей у него было с гулькин нос, получалось, что выставлять некого.

– Вперед, вперед! – подогнал окруженцев лейтенант.

Восток проблескивал тревожным мигающим светом, то разгорающимся, то затухающим, иногда раздавались яркие беззвучные всполохи, охватывали едва ли не половину неба и тут же гасли, словно подрезанные, – там ни на один час, ни на одну минуту не смолкала канонада. Немцы рвались к Волге, изо всех сил рвались, хотели продырявить нашу оборону и кое-где им это удавалось, но всякий раз очень скоро они вновь оказывались отброшенными от реки. Приказ «Ни шагу назад!» действовал, как молитва, ни одного слова которой нельзя было изменить или просто нарушить.

Идти осталось не очень много, километров двадцать, наверное, – вряд ли больше, это уже было каплей в длинном пути, оставшемся позади.

Прошло минут двадцать, и они выгребли на мягкую, словно бы сбитую из пыли дорогу, в которой ноги утопали по щиколотку – так земля здешняя была разбита танковыми траками. Не земля это была вовсе, а самая настоящая перина.

– Бегом! – передал по цепочке Тихонов, перехватил автомат, чтобы можно было стрелять из одной руки, как из пистолета, и, взбивая сапогами клубки пыли, хорошо видные в темноте – они странно светились, – побежал наискось через тракт.

Конечно, окруженцы могли и не бежать, не выкладываться до стонов и предсмертных хрипов, не сдыхать от напряжения, но очень хотелось жить, всем хотелось жить, поэтому люди и подчинялись приказам лейтенанта. Группа покорно топала за ним, стараясь бежать след в след, не отклоняться, – так в сорок первом бегали по минным полям, по опознавательным колышкам, если их кому-то удавалось поставить, и промахивались редко, – очутившись по ту сторону танкового тракта, взяли десятиминутный «тайм-аут».

Едва Тихонов подал команду подниматься, как из темноты неожиданно раздался железный, с трескучими нотками голос:

– Не спешите, господа красноармейцы! Мы предлагаем вам отдохнуть на летних дачах вермахта.

Акцента в голосе почти не было, ну если был, то самую малость – явно говоривший жил когда-то в России.

Тихонов не стал слушать, что за дачи будет предлагать радиоголос, – понимая, что побеждает тот, кто стреляет первым, послал на звук короткую очередь.

Стрелять он умел неплохо, а если точнее, то вообще стрелял хорошо и на этот раз также не промахнулся, радионемец заорал гортанно, испуганно, выматерился на родном языке и унесся куда-то в черноту. А из черноты ответно, будто из ада, ударила пулеметная очередь. Дымная, красноватая, хорошо видная в темноте.

Откуда-то из ночи, визжа отчаянно, принеслась мина, в стороне, метрах в двадцати от лейтенанта, хлопнулась на землю, высверлила в ней мелкий круглый окопчик, в который солдат мог только задницу спрятать, и все, мины больше не визжали. Пулемет тоже умолк – что-то не пошло у пулеметчика, заклинило, он стал перезаряжать свою машинку, вставил новую коробку, и на этом жизнь и стрелка, и скорострельного агрегата его закончилась – неожиданный рывок

совершил Стренадько и швырнул в пулемет гранату. Хорошо положил ее – это была лимонка, граната сильная, по той поре еще редкая, очень похожая на тропический фрукт.

Пулемет больше не плевался свинцом, он вообще даже не пискнул. Сдох, в общем.

Ночной бой был коротким, терять время было нельзя, через засаду они прорвались, оставив лежать в темноте двух человек.

Оба, хорошо понимая, что происходит, и боясь подвести своих, легли и умерли беззвучно, – пулеметчик хоть и не видел ничего в ночной мгме, свою машинку пристрелял засветло, поэтому знал, куда бить, и положил двух окруженцев одной очередью. Похоронить бы ребят по-человечески, обряд христианский исполнить, но это означало бы погибнуть самим, времени на это не было ни секунды.

Тихонов, сильно припадая на правую ногу, бежал вместе со всеми, но вот его обогнал один боец, потом второй, третий. Боли поначалу он не ощущал, поэтому не сразу понял, что ранен.

Бег продолжался недолго – до той минуты, пока он не почувствовал резкий, почти электрический удар; на этот раз боль ошпарила не только ногу, но и все тело, проколола его, кажется, до самой шеи, некоторое время Тихонов еще бежал, но потом быстро сдал и, споткнувшись, покатился по земле.

В темноте мало что можно было разобрать, но тем не менее, едва лейтенант боком воткнулся в какие-то кусты, над ним тут же навис запыхавшийся, с черными провалами глаз Стренадько, выкашлял из себя несколько невнятных слов, потом, помотав головой, стряхнул с губ что-то мешающее говорить, подсунулся под Тихонова:

– Куда ранило?

– В ногу. Правая нога будто бы совсем отбита – ничего, кроме боли, сейчас не ощущаю.

– Мужики, помогите кто-нибудь, – негромко, давя в себе голос, бросил сержант в темноту.

Впереди кто-то чертыхнулся, затем, затопав ногами, развернулся, и через несколько мгновений около Стренадько оказался Фомичев, долговязый неуклюжий зенитчик, пристравивший к ним три дня назад, выдохнул жарко, словно распахнул заслонку в печке:

– Чего надо?

– Шоколада! – буркнул сержант недовольно. – Командир ранен, помоги тащить.

Фомичев подставил левое плечо под руку лейтенанта, приподнял его.

– Вы эта... эта... ноги подожмите, мы сейчас с сержантом побежим, а вы... вы по воздуху поедете. Как самолет.

– Ага, – Стренадько как старший по званию словно бы утвердил предложение зенитчика. – Все правильно. Иначе будем слишком долго выходить из зоны обстрела. Бе-егом!

Пока бежали, на груди Тихонова болтался немецкий автомат, стучался о металлические пуговицы гимнастерки, звук раздавался раздражающе громкий, вызывал опасения. И передвинуть автомат было нельзя – обе руки заняты.

На бегу скатились в глубокую воронку, оставленную пятисоткилограммовой немецкой бомбой, растянулись на свежей, дурно взрыхленной, пахнущей кислым перегаром земле.

– Передых, товарищ лейтенант, – просипел Стренадько, задышал часто, с надрывом. – Заодно и оглядимся.

Отдыхать и оглядываться долго не пришлось – впереди вновь загрохотали танковые гусеницы и, неспешно вытаяв из пыльной мути, засветились слабо фары: к Сталинграду шла очередная бронированная колонна. Через несколько мгновений невидимая пыль уже начала лезть в ноздри, выедать глаза, в ней даже утонули редкие звезды, обозначившиеся было в небе. Всюду была пыль, пыль, пыль... Ревели моторы.

– Ничего не боятся, сволочи, – сержант не выдержал и выругался матом, сплюнул себе под ноги. – У наших ни одного огонечка не было бы, маскировочку соблюдали бы по всем

правилам движения бронетанковых войск, а эти – наглые, прут, как носороги по кочкам, и не боятся обкакаться.

– Реванш берут за сорок первый год.

– Ни фига не возьмут, кулаки у них уже не те.

– Кулаки у немчуры еще те и это обязательно надо учитывать. – Тихонов сморщился, сдавил зубами стон. Странную боль начала рождать раненая нога – прижигает волнами весь организм, от нее в ушах даже шипение раздается, будто на горячий металл из шланга ливанули водой, только пар шибанул во все стороны, – на глазах уползает куда-то вдаль, прячется, чтобы через несколько мгновений возникнуть снова и зашипеть.

– Как чувствуете себя, товарищ лейтенант?

– На букву «хэ». – Тихонов повозил по губам языком: слишком жесткие губы, сухие, скоро начнут лопаться. – Не подумай только, что хорошо.

– Пусть немного рассветет – посмотрим ногу, сейчас ничего не увидим. Если фонарь зажжем – засекут в несколько секунд.

Ногу лейтенанту Стренадько постарался перетянуть по сильнее, сделал это в первую очередь. Перетягивал вслепую – понимал, что рана может быть и неопасна, но вот кровотечение... Кровотечение всегда бывает опасным.

– У меня использованные бинты есть, из госпиталя привез... Я их выстирал очень тщательно и завернул в бумагу-восковку, а чтобы не заводились разные диффузории, даже сбрызнул наркомовской пайкой. Не пожалел...

– Молодец, сержант! – похвалил Тихонов, нашел в себе силы это сделать. – Считай, что жизни славянина на некоторое время спасена.

– Ну кто же еще будет спасать славянина, товарищ лейтенант? Не мексиканцы же! Им до славян, как до жителей Луны, а может, и еще дальше.

Хороший все-таки человек сержант Стренадько. Тихонов оперся спиной на косую стенку воронки и, закрыв глаза, прислушался к гулу танковых моторов. Это сколько же танков соберется подле Сталинграда? Похоже, вермахт послал все свои гусеничные машины на Волгу. Река, перерезанная хотя бы в одном месте, очень была нужна Гитлеру. Сорок второй год фюрер решил сделать годом реванша, вот гнал и гнал технику...

Покинуть бомбовую воронку удалось лишь через полчаса.

Нога у Тихонова начала деревянет. Боль хоть и оставалась в ней, но это была уже совсем другая боль, чем сорок минут назад.

Небо на востоке тем временем покрылось тусклой белесой пленкой, словно туманом – ну будто с какого-то горького пожарища приполз дым, испортил утренний воздух, забил земляные углы и щели, родил у бойцов ощущение печали. Тихонов понял неожиданно, что Волгу он не увидит уже никогда – не дотянет до нее. И не то чтобы изойдет кровью, истратит силы и ляжет на землю, а потом и в землю – просто чем ближе к Волге, тем больше солдат в гитлеровской форме будет перекрывать им дорогу.

– Ну как нога, товарищ лейтенант? – спросил Стренадько.

– Набухла, зараза... тяжелая стала. – Тихонов сделал над собой усилие, усмехнулся едва заметно. – Не пойму пока, то ли нога это, то ли бревно бесчувственное.

– Ничего, до своих дотелепаем, а там все поправим. Главное – дойти.

– Это правда, главное – дойти. – Тихонов вновь едва заметно усмехнулся.

Белесая пелена, возникшая в воздухе, посветлела, расплзлась, растеряла свою плотность, теперь можно было посмотреть, что за рану получил лейтенант.

Рана была не тяжелая, но плохая – пуля застряла в бедре, входное отверстие сочилось кровью, – видимо, внутри была перебита одна из артерий, надо бы попробовать по сильнее перетянуть ее, но, с другой стороны, это может и не сработать.

Лицо у лейтенанта было серое, осунувшееся, под скулами – провалы, щеки втянулись внутрь; лейтенант вообще стал похож на узника какой-нибудь суровой крепости, долго не видевшего света. Тихонов вновь закрыл глаза, на несколько мгновений отключился, пришел в себя от того, что сержант стоял перед ним в воронке и примерял к ноге завернутые в восковку стиранные бинты.

– Товарищ лейтенант, перебинтуемся и – уходим отсюда... Пора!

– Пора, – согласился с ним Тихонов, не раскрывая глаз.

– Я тут три листка подорожника нашел, обмыл их малость из фляжки – приложим к ноге.

Подорожник помогает очень.

– Как ваше имя, сержант?

– С вечера звали Костей.

– Ну раз вечером звали Костей, то и утром зовут точно так же. – Лейтенант опять едва приметно усмехнулся. Глаз он не открывал.

Для того чтобы отделить от раны ткань, пришлось немецким штыком разрезать штанину, несколько пропитанных кровью лохмотьев выбросить; Стренадько боялся, что лейтенант будет кричать, но тот не проронил ни звука – все звуки застряли у него в стиснутых зубах. Самое лучшее, конечно, попытаться вытащить пулю, но операцию эту не выдержат ни Тихонов, ни сам сержант, да и вообще никто из оставшихся в живых в их группе.

Белесый туман, растекшийся над землей, неожиданно наполнился свежей розовиной, неподалеку начала драться стая проснувшихся ворон – наверное, нашла разлагающееся тело, попробовала его и теперь делила на лакомые куски.

Наступало утро – типично летнее, настоящее приволжское утро, которое, несмотря на начавшийся по календарю осенний месяц, высветилось самыми настоящими летними красками.

Где-то недалеко, прямо по равнине, не разбирая дороги, круша подворачивающиеся по пути хаты, сминая сады и риги, шла очередная гитлеровская колонна. Колонну не было видно, даже пыли, вылетающей из-под траков, не было видно, но затяжной гул, вызывающий свербение на зубах, был слышен хорошо. Далеко слышен.

– Неужели фрицы все-таки блокируют Волгу? Вот так возьмут и перережут? – спросил неверяще Стренадько, уголки губ у него задержались мелко, болезненно, и он, не дожидаясь ответа, отрицательно помотал головой.

Тихонов открыл глаза и теперь смотрел на усталое, с печальными складками морщин лицо сержанта; хотя Стренадько был еще молод и подвижен, как пионер, лицо его было старым, – сдавало лицо, и глаза сдавали – это были глаза пожилого человека.

– Я в мае ездил на Волгу получать две полуторки, их доставили на барже, видел реку, – уже тогда было понятно, что Волге очень трудно, но будет еще труднее... Баржи-нефтянки по ней уже не ходили, горючку из низовий, из Азербайджана перевозили в бочках. Наполняли бочки бензином, нефтью и волокли на буксирах наверх. Немцы налетали, поджигали бочки с воздуха, но все равно горючее удавалось доставлять. Третью бочек или даже половина, допустим, сгорала, но вот вторую половину, – если, конечно, катер оставался цел, – он доволакивал до пункта приема... Война ныне, товарищ лейтенант, пахнет нефтью и... смертью. – Стренадько умолк, с шумом затянулся воздухом, потом выдохнул и добавил на манер представителя северных народов: – Однако есть хочется.

С продуктами было плохо. Как, собственно, и с людьми. Число тех, кто шел с Тихоновым, все уменьшалось и уменьшалось. Единственная еда, которая у них имелась в достатке, – брючные ремни, точнее – дырки в них... Подтянул ремень на пару дырок – считай, очень неплохо позавтракал.

Вороны, облюбовавшие себе место неподалеку от людей, продолжали отчаянно драться и горланить, иногда их карканье становилось таким громким, что не было слышно человеческого голоса.

– Вот гадины хвостатые, – не вытерпел зенитчик Фомичев, обычно старающийся больше молчать, чем говорить, а тут его прорвало.

– Мы уже уходим, – проговорил Стренадько, – через несколько минут. Сейчас вот закончу перевязку...

На востоке, где-то вблизи Волги, километрах в пятнадцати-восемнадцати отсюда что-то громыхнуло очень сильно, будто взорвался склад с толом и боеприпасами, вороны мигом стихли, будто подавились – то ли перетрухнули пернатые, то ли у них произошло прободение карканья... А может, немцы разбомбили переправу – всякое могло быть. Тихонов ощутил, как у него само по себе напряглось лицо, желваки сделались каменными.

В воронку неожиданно свалился Побежимов, младший лейтенант, гимнастерка у него была испачкана по самые плечи землей.

– Чего так? – молча, одними глазами спросил Тихонов.

– Да мотоциклетный патруль немецкий объявился. – Побежимов попытался стряхнуть грязь с гимнастерки и брюк, но не тут-то было, жирная влажная земля прилипла к ткани сильнее солидола – не отскрести. – Как с неба свалился. Пришлось там, где стоял, упасть.

Побежимов ходил в разведку – окруженцам не хотелось угодить еще в одну засаду.

– Ну, чего там? – спросил Тихонов. – Не то мы от воплей ворон уже оглохли.

– В километре отсюда – овраг. Извилистый. Хороший овраг, лесистый. Укрыться есть где.

– Но он точно так же, как и нас, будет привлекать и фрицев. Для нас он интересен тем, что есть, где спрятаться, для немчуры тем, что можно отыскать нас и переломить хребет, чтобы не мешали их новому блицкригу.

Тихонов хоть и говорил сейчас много, но говорить ему становилось все труднее, словно бы во рту что-то приклеивалось к языку и зубам, дышать также делалось труднее.

Но подавать вида, что тяжело, было нельзя, поэтому лейтенант не только говорил, но и даже улыбался – специально показывал, что с ним все в порядке.

– Что будем делать, товарищ лейтенант? – спросил Стренадько, словно бы не знал, как поступать дальше.

– Что делать, что делать? Перебираться в облюбованный овраг, сержант.

С тугими бинтами, перетянувшими ногу и закрывшими рану, было все-таки легче, чем с открытым, постоянно сочащимся пулевым отверстием.

Через несколько минут группа поднялась. Несмотря на ночь и засаду, на которую наткнулись час назад, никого не потеряли, – кроме погибших, естественно, пусть земля будет им пухом, – люди понимали, что держаться надо вместе, только так они смогут уцелеть и выйти к своим. Вспугнули стаю ворон, расковырявших крепкими лапами грудь валежника. Под грудой лежал, догнивая, превратившись в мокрую плесневелую кучку, труп в черной немецкой форме.

– Эсэсовец! – сирым ненавидящим голосом отметил Стренадько. – Откуда он тут взялся?

– Это не эсэсовец, – поправил его негромко и одышливо Тихонов, – танкист.

– Но у него же черная форма.

– Ну и что? У танкистов тоже черная форма – это раз и есть еще два – когда эсэсовцы выезжают на фронт, то черную форму оставляют у себя в Берлине в шкафу с парадной одеждой, на передовой они, как и все, ходят в форме мышинного цвета.

– Видать, остановил свой танк, чтобы поссать, отошел чуть в сторону – постеснялся, что брызги попадут на гусеницы и... результат налицо.

С одной стороны лейтенанта подпирал Фомичев, с другой – такой же длинный, с литыми плечами боксер из Ростова Великого по фамилии Брызгалов. В своей жизни Брызгалов участ-

вовал в самых разных боях – уличных, базарных, дворовых, на ринге и танцплощадке, на золотом песке родного озера и лесных полянах, когда ходил за грибами; против него выступали соперники также разные, среди них были и чемпионы района, и рыночные барыги, и пацаны с соседних улиц, в результате в шестнадцать лет ему свернули набок нос, свернули так круто, что кончик его бравого шнобеля смотрел едва ли не на плечо... Кто это сделал, Брызгалов уже и не помнил.

Ну а в остальном был он солдат, как солдат, в меру ленивый, в меру инициативный – ничем не выделялся из общей массы, словом, хотя и был боксером. Лейтенант, подчиняясь шагу людей, которые волокли его, сипя и морщась, неловко скакал на одной ноге, будто подбитый грач.

Вонь около разлагающегося танкиста стояла такая, что все вороны в округе должны были как минимум передохнуть, но они, странное дело, были не только живы, но и веселы.

Тухлой мертвечиной не стало пахнуть далеко отсюда, когда они достигли края оврага и, перевалив через кромку, ушли по черной крутой боковине вниз, к жидкой струйке воды, плоско стелющейся по глиняному дну.

В таких местах, как это, – приволжских, где и степью может пахнуть, и жидким, насквозь просвечивающим леском, и буераками, подле которых любят селиться суслики, а на сломках растет душистая мята, – лучше всего прятаться окруженцам, пробирающимся к своим... Прав Побежимов. Лучшего места для схоронки, чем заросший овраг, не найти до самой Волги. И за Волгой – тоже.

Они прошли по оврагу около километра, несмотря на то что Тихонову было тяжело, бинт, намотанный на ногу, набух кровью, оставлял след – на траве, на голых куртинах земли, на мяте поблескивали капли крови, похожие на костянику, рубиново-слепящую, дорого посверкивавшую в солнечном свете ягоду.

– Привал! – скомандовал Тихонов хриплым дырявым голосом прямо в ухо Стренадько, сменившему Брызгалова. – Стоп, машина!

– Может, еще чуть пройдем?

– Здесь место хорошее. Наверху, по краю оврага очень удобная полка проложена... Видишь?

Стренадько кивнул и, кряхтя, аккуратно поддерживая лейтенанта за ремень, на котором болталась кобура с «ТТ», опустил на землю, Фомичев помог. Лейтенант устало откинулся на спину, вздохнул, словно удачно облегчился.

Впрочем, следом последовал еще один вздох, озабоченный и в ту же пору жесткий: Тихонов понимал, что подбитый, с дырявой ногой он до Волги никак не дотелепает. У него сил, чтобы бороться с болью, просто-напросто не хватит.

Сержант, кряхтя, будто старик, помял себе пальцами спину и пристроился на земле рядом с Тихоновым, затем хлопнул обезвоженным ртом и так же отвалился на спину.

– Раньше воду можно было пить из Волги кружкой, прямо с лодки, а сейчас хорошая вода – только в колодцах.

Было понятно, к чему он клонит. Бензин, нефть, машинное масло, ошмотья солидола, драная одежда, трупы – все это сейчас вольно плывет по великой реке. Выход один – воду набрать тут же, в овраге, другого места нет и не будет. Главное – чтобы нигде не валялись, не гнили трупы... С гнилой водички можно легко отправиться на тот свет.

Впрочем, на фронте мало кто травился. Даже с голодухи наевшись откровенной гнили, от одного запаха которой можно откинуть и копыта и ботинки, даже от супа, сваренного из заскорузлой одеревяневшей крапивы, даже от воды, натекшей в воронку, полную ядовитой пироксилиновой кислотины, не травились – какие-то высшие силы защищали человека, не давали в обиду... На фронте ели все, что можно было есть, лейтенант был тому свидетелем, – и пили все подряд, что только могло налиться в кружку либо в горлышко бутылки...

На фронте люди, к слову, и не болели вовсе. Даже на морозе, уйдя при переправе через реку под лед, выживали, не выплевывали в судок обмороженные легкие. И не просто выживали, а на следующий день уже находились в строю.

Некоторое время Тихонов лежал с закрытыми глазами – откинувшись на косо́й бруствер, словно бы кем-то специально вырытый, думал о бедах своих... А может быть, и не о бедах, по лицу его невозможно было понять, – может, вспоминал свою Волгу, походы в ночное с колхозными конями, печеную картошку из костра и рыбу, вытащенную из прутьяного вентера... Впрочем, скоро воспоминания и горькие мысли его закончились, лейтенант открыл глаза.

Достал из кармана наручные часы – он почти всегда носил их в нагрудном кармане.

– Значит, так, славяне. Полчаса на отдых, сон, поедание щавеля и сергибуса, – тут, на отвалах росла сладковатая, вкусом похожая на морковку травка со странным римским либо латинским названием «сергибус», – чего-нибудь еще, годного для подкрепления организма, и вперед, на восток, – он ткнул рукой в густеющие заросли кустов, среди которых имелась и лещина, и лозина, и даже черемуха, хотя Тихонов не помнил случаев, чтобы черемуха забира-лась так далеко на юг.

Черемуха – дерево северное, скорее даже сибирское, много радости приносит народу после долгой жесткой зимы где-нибудь в Чите или под Благовещенском... Тихонов шевельнулся неловко, прикусил зубами нижнюю губу – боль пробила не только ногу, но и все тело, лейтенант взмолился немо, чтобы отпустила, и минут через пять боль отступила от него.

– Костя! – позвал он сержанта. Тот даже не шевельнулся – наверное, думал, что вряд ли лейтенант может обратиться к нему по имени, поэтому и не среагировал на зов, тогда Тихонов позвал вторично: – Костя!

Сержант встрепенулся, непонимающе глянул на Тихонова.

– Звали меня?

– Так точно!

Лицо у Стренадько неожиданно сделалось смущенным, он будто нашкодивший третьеклассник, отвел глаза в сторону и спросил неверящим тоном:

– По имени, что ли?

– Так точно, по имени. У нас же у всех есть имена, даденные родителями. Меня, например, Николаем зовут... Николай Тихонов, если полнее. А мы, вместо того чтобы обращаться по-человечески, обращаемся хрен знает как.

– Поэт такой есть, известный – Николай Тихонов, в Ленинграде, по-моему, живет. А, товарищ лейтенант?

– Кажется, да, в Ленинграде...

– Видите как – и однофамилец и тезка. И по отчеству, по отцу тоже, может быть, тезка?

– Отчества его я не знаю. Но все может быть. – Лейтенант аккуратнo, чтобы не разбудить в себе боль, пошевелился. – Вот что, Костя, позови-ка сюда Побежимова.

– Есть позвать сюда Побежимова!

Младший лейтенант Побежимов появился через пару минут, был он выжарен до костей, сгорбился, словно на плечи ему взвалили тяжелый мешок, беспокойные глаза потускнели: видно было сразу – устал человек. Тихонов глянул на него, потом на Стренадько и, будто борясь с самим собою, с собственной немотой, проговорил тяжело и жестко, отсекая всякую возможность спорить:

– Может случиться так, что дороги наши разойдутся...

– Это как? – не понял Стренадько, резко вскинул голову, Побежимов тоже насторожился, сжал глаза, будто заглядывал в винтовочное дуло.

– Если мы схватимся с фрицами, вам придется идти дальше без меня. Если со мной, то мы только людей потеряем и вообще погибнем. Все погибнем. А налегке, без меня, вы прорве-

тесь – есть все шансы. Я же прикрою вас. – Лицо у Тихонова было спокойным, даже немного отрешенным, словно бы лейтенант говорил не о себе.

– Я не согласен. – Побежимов сел на землю, словно бы собираясь вступить в дискуссию с лейтенантом, но тот оборвал его таким тоном, что ослушаться было нельзя:

– Это приказ. А приказы, как известно, не обсуждаются. – Тихонов закашлялся, умолк – понимал, что может наговорить столько, что потом, глядишь, придется отвечать за свои слова перед командованием летной части, которой, впрочем, уже не было, либо дивизии или же вообще перед товарищем Сталиным... От таких мыслей у человека обычно слабеют ноги и невольно делается холодно, а то и страшно. Хоть и ранен был лейтенант и не о товарище Сталине надо было думать, а о вечном, раз он принял такое решение, но Тихонов думал об ответственности перед начальством и ничего с собою поделывать не мог.

Так уж устроен русский человек, а точнее – мужик русский: заглядывать в начальственный рот и заранее страшиться того, что он может услышать.

– Есть не обсуждать приказы! – пробормотал Побежимов покорно и на несколько минут захлопнул рот на щеколду: решил послушать, чего же еще скажет лейтенант Тихонов.

А лейтенант ничего больше и не сказал – собственно, ему было важно принять решение, надавить на самого себя, сломать собственное сопротивление, а после этого... после этого все уже становится мелким, даже неприметным, главное после всего этого – достойно донести свой крест до конца. Так, наверное, раньше поступали все служивые люди, державшие в руках оружие.

– В общем, Саша, ты знаешь, как действовать дальше, если мы столкнемся с немцами, – сказал лейтенант Побежимову. – Сержант Стренадько – твой заместитель. На всякий случай зовут его Костей.

– Да знаю я, знаю. – Побежимов приподнялся, взгляделся в длинную плешину, подступавшую к оврагу: ему показалось, что там чего-то зашевелилось, будто ползет к ним одинокий автоматчик. Но ничего этого не было.

Жесткая сохляя трава, немного дальше – расплывающиеся в пространстве прозрачные деревья, наполовину искалеченные, чуть в стороне – небольшая березовая рощица, хотя деревья ее на березки были похожи мало: нежная атласная бель их давно уже стала черной, будто по ней прошлась сапожным гуталином могучая сила, листьев на ветках почти не было – все съедено огнем. Рощица эта рождала в душе тревожные ощущения. Побежимов отер лицо ладонью и сел.

– Чего, заметил кого-то? – спросил лейтенант.

– Показалось.

Они хорошо перевели дух в этом овраге, лейтенанту промыли рану – нога у него уже начала опухать, стала багровой, покрылась каплями пота. Побежимов озабоченно покрутил головой: хорошо бы из мякоти вытащить пулю... Но как?

Это можно сделать только на операционном столе. А до берега Волги, где в какой-нибудь палатке, пропахшей бинтами, спиртом и кровью, можно найти очумелого хирурга с красными от бессонницы глазами, идти еще километров двадцать... Побежимов сгреб в свою большую ладонь лицо, сжал его, проговорил бесстрастно:

– Все, надо идти дальше. – Глянул вопросительно на лейтенанта, потом перевел взгляд на обмотанную бинтами ногу, в глазах его появилось болезненное выражение: – Ну как?

– В пределах терпимого, – спокойным голосом отозвался Тихонов.

– Идти можем?

– Можем.

В эту минуту совсем рядом, на закраине оврага, заросшей густой лещиной, которую диковинным образом обошли и осколки и пули, раздался крик – кричал выставленный для охраны боец:

– Немцы!

– Мать твою! – выругался Тихонов и скомандовал голосом звонким, совершенно лишенным болезненной хрипоты: – К бою!

Овраг зашевелился, люди спешно полезли наверх, к закраине, чтобы занять позицию повыгоднее. Справились с этим быстро.

Разные бывают окруженцы: одни расхристанные, похожие на бандитов, не признающие никаких командиров, другие – подавленные, вялые, команд они словно бы не слышат вообще, бывают третьи, четвертые и пятые – разные, словом, а вот окруженцы, примкнувшие к группе Тихонова, совсем не были на них похожи. Лейтенанту удалось за считанные дни сколотить настоящее дисциплинированное войско, хоть и маленькое, но особое, которое слушалось его и как всякая воинская часть выполняла приказы.

– Без команды не стрелять, – предупредил Тихонов, оглянулся, поискал взглядом Брызгалова – тот отвечал за снайперскую винтовку, оставшуюся от погибшего сутки назад сержанта Уточкина, толкового стрелка, потерявшего свою отступившую на восток часть. – Брызгалов, ты где?

– Да здесь я, товарищ лейтенант, – отозвался Брызгалов. Он сидел буквально рядом, под кустом, и с невозмутимым видом смолил сигарку.

– Давай-ка сюда винтовку. Не гоже, чтобы она простаивала без хозяина.

Брызгалов смял пальцами яркий огонек самокрутки и даже не поморщился, словно бы считал боль своим естественным состоянием. Через несколько мигнов он оказался уже около лейтенанта.

В училище у себя Тихонов считался не только лихим единоборцем, но и хорошим стрелком, однажды даже стал чемпионом по малопулевому трехборью – тульские мелкашки тогда прочно входили в моду и чемпионаты по стрельбе из малокалиберных винтовок разве что только в детских садах не проводились.

– Брызгалов, будь другом, помоги подтянуться, – Тихонов ткнул рукой в закраину, которая, как надежная земляная бровка, скрывала находившихся сейчас в овраге, – хочу на исходную позицию забраться.

Сквозь сохлую ломкую траву, давя куртины чернобыльника, к оврагу подходили немцы. Подходили развернутой цепью, выставив перед собой стволы винтовок и автоматов, полусогнувшись, будто приготовились к броску бегом.

В середине цепи вышагивали два голенастых, в хорошо подогнанной, еще не обмятой на фронте форме офицера, – если судить по серебряным погончикам на их плечах, – также вооруженные автоматами.

Офицеров надо убирать в первую очередь, всех остальных – потом. Тихонов стащил с прицела винтовки матерчатый чехольчик, приник к резиновой тубе, натянутой на край оптического прибора.

До немцев было еще метров сто, не меньше, это часовому сгоряча, в первые секунды показалось, что они уже совсем рядом, рукой дотянуться можно, а на деле было пока далеко.

– Без команды не стрелять, – вновь подал голос Тихонов, – подпустим еще чуть...

Немцы хоть и шли на полусогнутых, – в стойке, которая, как вообще казалось фрицам, ходившим в наступление, может обмануть пулю, но пулю не обманешь – бесполезно, – а видя, что овраг молчит, никакой жизни в нем нет, начали распрямляться.

Лейтенант поймал в прицел щекастого, с розовым уверенным лицом офицера, шедшего почти на него, покосился на холщовый мешочек, который Брызгалов положил рядом – там

находились две снаряженные обоймы и россыпью постукивали друг о дружку десятка полтора патронов... Спасибо сержанту-снайперу, запасливым оказался человеком.

Кто-то из немецкой цепи, – но не офицер, – видя впереди лещинник, показавшийся ему опасной стенкой, за которой могут прятаться разбойники, дал по веткам очередь из «шмайсера», сшиб несколько листьев и все, ничего больше не смог сделать. В ответ не прозвучало ни одного выстрела... Вообще – ни звука.

Немцы осмелели еще более, заговорили громко, перекрикиваясь и подбадривая друг друга, край оврага уже находился почти рядом – кто-то в цепи рассмеялся безмятежно, но в следующее мгновение овраг ожил, ударил плотным залпом, таким плотным, что показалось – кусты загорелись, над ними всплыл удушливый сизый дым.

За первым залпом ударил второй, потом третий...

Через несколько мгновений на земле лежала половина облавы, в том числе и два офицера. Оставшиеся, огрызаясь огнем из автоматов, попробовали отступить, но слишком уж они находились на виду, буквально были на ладони, – попадали кто куда, кто в воронку от гранаты, кто сунулся в земляную щель, но просидел там недолго – поползли фрицы к грузовой машине, появившейся на опушке рощицы.

– Забрать у убитых оружие и ранцы с провиантом! Хоть перекусим за счет вермахта... – велел Тихонов, и сразу несколько человек, несмотря на то что от рощицы постреливали, выметнулись за крайину оврага – голод не тетка, голод подгонял бойцов. Лейтенант похлопал ладонью по цевью снайперской винтовки, похвалил: – Толковое оружие!

Минут через десять, когда содранные с убитых ранцы были распотрошены, еда и имущество поделены, «шмайсеры» вручены в нагрузку нескольким бойцам, – лишние стволы никогда не помешают, – лейтенант Тихонов стер с подбородка, оскобленного утром золингенговской бритвой, крошки формового немецкого хлеба и сказал:

– А теперь приказ для всех такой... общий... За командира остается младший лейтенант Побежимов, помощником у него – сержант Стренадько, а я... Я остаюсь здесь – прикрывать вас.

– Как? Это несправедливо, – вскинулся Брызгалов.

– Этот вопрос не обсуждается, он – решенный. Если кто-то не прикроет отход – от фрицев оторваться не удастся. Перебьют всех!

– Това-ариц лейтенант... – вдруг послышался голос, под самую завязку наполненный жалобными нотами, – послышался и стих.

Этого еще не хватало – жалости! Тихонов с детства знал, что жалость унижает человека – так им когда-то объясняла учительница третьего класса Нина Дмитриевна, а она умела отличать человека от существа, лишь внешне на человека похожего...

– Давайте не будем обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Уйти с вами я не смогу – сил не хватит, а вы оторваться от немцев, если я буду у вас на руках, не сможете... Погибнете! Все до единого! Разумеете это?

Тихонову оставили «шмайсер» – его же собственный, добытый в бою три дня назад, пять магазинов и снайперскую винтовку с патронами. Из еды – небольшую банку американской консервированной колбасы, – интересно, откуда она взялась у немцев, из каких запасов, у русских такой колбасы не было, – и пачку французских галет, предназначенных для морских пехотинцев.

– Долгое прощание – лишние... – Тихонов хотел произнести «слезы», но подумал, что солдатское дело и слезы – вещи несовместимые, обрезал себя и проговорил: – вздох.

Через пять минут он остался один.

Овраг, в котором предстояло принять последний бой, был длинным, можно было бы, пока группа находилась здесь, переместиться в другое место, но этого не следовало делать,

делать следовало другое – быть у немцев на виду, на мушке... Ведь от них на одной ноге все равно не ускачеешь, догонят, а вот притянуть их к себе, замкнуть, связать им руки и заставить вступить в бой – это совсем иное дело, то самое, что надо. За это время его группа уйдет километров на пять-семь... Хотя в одиночку Тихонов, конечно, много не навоюет.

Пристроив на старом корневище автомат, Тихонов разложил рядом магазины, пахнущие ружейной смазкой – ровные, как школьные пеналы, из «сидора» достал гранату, положил ее рядом, потом, горбясь, сипя сквозь зубы, помогая себе палкой – обломком прочного горбыля, брошенном кем-то в овраге и подобранного Брызгаловым, переместился метров на двадцать в сторону, расчистил место для снайперской позиции.

Загнал обойму в магазин винтовки, проверил, нормально ли работает затвор, хотя можно было не проверять – он только что стрелял из этой винтовки... Все работало нормально.

Суета вся эта, передвижения с одного места на другое растревожили ногу, надо было успокоиться, присесть где-нибудь под корягой, затихнуть, обдумать свои действия.

О том, что очень скоро, возможно, завершится жизнь его и бытие станет небытием, он не думал.

Конца, предписанного движением, а может быть, даже и круговоротом жизни в природе, не удастся избежать никому, ни одному живому существу на свете, цена вопроса заключена лишь в нескольких годах, которые могут быть приплюсованы к прожитому сроку; для одних эти годы иногда становятся, извините, лишними, для других... Другим сколько ни дай – все сожгут с большим удовольствием, превратят в пепел в топке своего бытия.

Но конец у всех будет один. Большинство канут в неизвестность, утонут в прошлом бесследно, и лишь единицы всплывут, пристанут к островку какой-нибудь эпохи и их иногда будут вспоминать.

Тихонова, скорее всего, никто не вспомнит – не того полета птица, да и относится он к этому очень спокойно... В общем, было ему все равно. Главное не это, главное – выполнить свой долг и выполнить так, чтобы в него потом не тыкали пальцем, не говорили худые слова.

Хутор их Фоминский хоть и носит приставку Большой, всего-навсего – крохотная административная единица, конопляное зернышко, каких в России сотни, тысячи, и если кто-то, уже после войны, после победы, вспомнит Тихонова на какой-нибудь тризне, посвященной солдатам, – уже будет хорошо.

И за это спасибо.

По-прежнему было тихо. Ни птиц не было слышно – даже ворон, ни мелкоты, разных цикад и кузнечиков, чье пение, цвирканье помогает одолевать собственное одиночество, когда неожиданно оказываешься в этой яме, – немецкие танки, которые совсем недавно проходили невдалеке, также перестали реветь. Мир словно бы опустел.

Растревоженная нога успокоилась, Тихонов откинулся на спину, пошарил в кармане гимнастерки, где у него хранился огрызок карандаша, а также на крайний случай были сложены восьмушкой несколько листов чистой бумаги...

В голову пришла мысль, которая раньше всегда обходила его стороной: надо попрощаться со своими, с родней, с хутором, с Волгой – ведь он уже никогда не увидит ни родных людей, ни мест родных.

Интересно, как воюет его хуторской приятель Валька Седобородов, – он ведь тоже окончил военное училище, только не пехотное, а кавалерийское, по казачьей своей принадлежности... Последний раз они виделись на хуторе летом сорокового года, ходили вместе на рыбалку, в ночь, взяли на закидушку хорошего сома. Когда взвесили его на безмене, то с дружным восхищением крякнули: сом потянул на три пуда.

В общем, рыбалка получилась из тех, что оставляют след в памяти. Ловили на жареных лягушек, хотя сам Валька насчет того, чтобы пожарить лягушек, оказался слабаком.

– Быка могу зажарить – целиком запечь в костре, барана приготовить на вертеле, птиц – сразу штук пять, с вкусной корочкой чтоб, с дымком – это запросто, а вот лягушек – извини, Колян, – проговорил он брезгливо и, замолчав, отвернулся в сторону.

Пришлось Тихонову жарить лягушек одному. А жареная лягушка – это лучшая приманка для большого волжского сома.

Поставили донные удочки с тяжелыми коваными крючками, самодельными, сработанными здешним кузнецом; на одну из них и попался трехпудовый сом.

Рот у рыбы был такой широкий, что в него запросто влезал таз с выстиранным бельем. Разрубили сома пополам на два дома – Тихоновых и Седобородовых, – рубили вдоль (голову и плесток, хвост сам, делили отдельно), чтобы никому не было обидно, потом устроили большой совместный обед. Рыбный.

Где сейчас Валька, на каком фронте воюет?

Воспоминания детства могут растрогать до слез.

Дед у Вальки был отличным столяром, поделки его заставляли зрителей удивленно распахивать рты, но кроме вещей удивительных (однажды вырезал детали деревянных часов, собрал и часы шли), мастерил обычную бытовую мебель, которая служила долго и выглядела как заводская, торжественно блестя лаком, в том числе делал и, извините, гробы. Называл он их «деревянными бушлатами», поскольку в Гражданскую воевал на Каспийском море и на праздники свою седую голову обязательно украшал бескозыркой.

С толковым материалом для поделок всегда было плохо, и дед Павел готовил древесину заранее, долго сушил ее в сарае и лишь потом начинал стучать молотком. Так запас гробов, штуки три-четыре, он сколачивал в первую очередь и держал на чердаке сарая до подходящего случая. Скорбного, естественно.

Валька Седобородов любил в этих гробах спать. Настелит соломки побольше, сверху бросит какую-нибудь дерюжку помягче – вот постель и готова.

Причем постель эта не уступала постели боярской: сон наваливался мгновенно, бывал он легким и одновременно глубоким, со счастливыми видениями, утром Валька просыпался в гробу свежий, как огурец, только что политый водой на грядке, и, еще лежа на дерюжке, начинал делать утреннюю гимнастику.

Особенно удобно и комфортно было спать в гробу, когда лютовали комары – в мае, в июне, в июле... Тогда Валька набрасывал на гроб крышку – ни один комар не мог к нему проникнуть.

Рядом в гроб ложился кот, вытягивался блаженно, – комаров он не любил еще больше, чем Валька, – так они и храпели компанией до самого утра и очень хорошо себя чувствовали.

Вообще Валька Седобородов был большим выдумщиком по части повседневной жизни, любил и поспать, и поесть, и прибить кому-нибудь ботинки гвоздями к полу, и верхом на корове съездить на Волгу, чтобы искупаться, а корову, упреждая ее побег, привязать веревкой к огромным деревянным ребрам старой баржи, догнивающей свой век на берегу, в песке.

Корове хотелось есть, было страшно, тянуло к травке зеленой, она мычала обиженно, но Валька внимания на эти прихоти не обращал и пока не уставал плескаться в Волге, – а плескался он обычно до посинения, с места не сдвигался, коровьи вопли предпочитал не слышать и, лишь выбив воду из ноздрей, забирался на буренку и скакал, как всякий лихой казак, галопом на хутор.

Хозяйством седобородовским командовала баба Фиса – Анфиса Борисовна, – подслеповатая, шустрая, крикливая, в силу слабого зрения она многого не видела, не знала, поэтому Вальке сходили с рук почти все его проделки.

Как и все на хуторе, Седобородовы держали кур – не очень много, но десятка два-три голосистых красноглазых хохлушек у них всегда бегали по подворью, орали так, что даже

вороны пугливо облетали седобородовский дом стороной, словно бы боялись потерять свою птичью девственность.

Валька, помышлявший в будущем стать певцом, прочитал в «Огоньке», что великий Шаляпин укреплял и развивал свой голос сырыми куриными яйцами, и решил поднять собственный тенор на шаляпинскую высоту.

Но баба Фиса яйца внуку на благое дело не выделяла, считала ремесло певца пустяковым, если вообще не пустым, говорила, что лучше бы Валька выучился на коваля – кузнеца, тогда в семье и деньги всегда были бы, и обеды, и почет земляков, помноженный на уважение.

Чтобы куры не бегали нести яйца в крапиву либо в заросли лебеды, бабка в нескольких местах вырыла лунки, застелила их соломой, а сверху в каждый «новодел» положила по яйцу – этакий опознавательный знак, призывающий кур нести яйца именно сюда, только в эти уютные гнезда и опорожнять себя лишь здесь и больше нигде.

Куры по методике бабы Фисы работали в поте лица, регулярно наполняли лунки яйцами, всякий раз оповещая хутор громким кудахтаньем о своей трудовой победе.

Баба Фиса, как бдительный контролер ОТК, мигом засекала победный крик, проворно выгребала яйцо из лунки и помещала в корзинку, где уже лежал товар, приготовленный для продажи.

Так что Валька и хотел бы уволочь какое-нибудь незасеченное яичко на пользу дела и вознесение своего голоса, только удавалось это ему чрезвычайно редко: баба Фиса хоть и подслеповатая была, но не глухая, слух у нее был в два раза острее обычного: стоило только несущей закудахтать, оповещая мир об очередном своем успехе, как старая хозяйка, ворча ласково, повисала над ней.

Надо было что-то придумать, изобрести, в конце концов, иначе удачи не видать. Валька ломал-ломал голову и изобрел.

Так как гнезд было несколько, то хохлатки, естественно, не во все откладывали свой товар (вернее, не во все гнезда равномерно), да и баба Фиса не все гнезда проверяла, – обычно она спешила на куриный зов, впустую предпочитала не ходить, поскольку у нее не только глаза были больные, но и ноги. А с другой стороны, при всех, даже самых неблагоприятных условиях, – даже если хохлатки объявят всеобщую забастовку или вместо яиц решат нести пуго-вицы, – одно яйцо обязательно будет оставаться в гнезде... То самое, подсадное яйцо.

И Валька это дело в своих действиях учел. У бабушки из швейной подушечки, висевшей на стенке, вытащил иголку с пропущенной через ушко ниткой, чтобы опасный предмет не затерялся или случайно не всадились в задницу, и прокрался к дальнему гнезду.

Там, в мягкой лунке, красовалось всего одно яйцо. Валька вздохнул жалобно, вытащил яйцо и проткнул его иголкой с двух сторон, с носа и с задка, в отверстие загнал соломинку и с большим наслаждением, как всякий подлинный артист, выдул содержимое.

Пустую скорлупу, – непомятую, целехонькую, легкую, как воздух, аккуратно вернул в лунку: курам ведь все равно на какое яйцо ориентироваться, пустое или полное.

Один раз у Вальки это прошло, второй раз прошло, а на третий баба Фиса обратила внимание на «непорядок в природе», ужаснулась:

– Это с какого же такого ляха куры начали нести пустые яйца? – прокричала громко. – Валька, ты где?

Ну будто Валька исполнял у кур роль петуха... Обостренно прочувствовав ситуацию, он понял, что наступает час расплаты, и поспешно спрятался на сеновале, с головой зарылся в старое, уже пахнущее лежалой прелью сено – у Седобородовых его сохранилось много, целая копна, – и там переждал артиллерийский налет.

И ничего, остался жив. Куриные яйца больше не трогал, поэтому у Федора Ивановича Шаляпина достойный соперник так и не появился. Из Вальки получился вполне приличный кавалерийский командир. Если Валька жив, то наверняка сейчас возглавляет где-нибудь в кон-

ном полку взвод. Либо бери выше – командует эскадронам... Хотя ни пехота, ни конники на передовой долго не живут, особенно командиры.

Весной Валька делался конопатым, как яичко, вытащенное из-под степной куропатки, и хуторские ребята дразнили его дружно, едва ли не в один голос: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой», – но завидев где-нибудь бабу Фису, немедленно затихали: бабуля в Большом Фоминском пользовалась авторитетом, не было человека, который мог бы безнаказанно отпустить в ее адрес шуточку.

Интересно, что там на хуторе сейчас творится, все ли живы? Линия фронта наверняка проходит рядом, и от многих домов, как пить дать, остались только разбитые окошки...

Тихонов глянул на часы: сколько там намотали на свою ось стрелки? Ему казалось, что времени с момента ухода группы прошло много, а оказалось – всего ничего, двадцать четыре минуты.

Он пристроил лист бумаги на полевую сумку и начал писать письмо. Последнее письмо в своей жизни.

Огрызок карандаша был мягкий, жирный, буквы, слова получались с дражементом, словно из-под печатной машины. «Мои дорогие», – написал он и задумался, поскреб тыльным концом карандаша висок – не знал, кто остался на хуторе, к кому обращаться и вообще, кто из родни живой, а кого уже нет... Война вообще могла оприходовать половину Большого Фоминского и оставить вместо домов могилы. Связи с хутором, увы, никакой.

Подумав немного, он оставил то обращение, которое написал, – «Мои дорогие», ведь лучше все равно не придумаешь...

Трудное это дело – заниматься «литературным творчеством»: и мозги в голове твердеют, и руки делаются, как крюки – карандаш начинает выскальзывать из пальцев, внезапно ставших негнушимися. Проще в разведку сходить и приволочь «языка», чем сочинить одно небольшое письмецо.

Где-то недалеко послышался треск мотоциклетного мотора и тут же угас, за пределами оврага творилась своя жизнь, опасная для Тихонова, происходили свои подвижки, перемещения, которые угадать было сложно, но ясно одно – немцы за своими убитыми вернутся обязательно, не оставят их валяться в поле, подступающему к оврагу, среди сохлых кустов, поэтому передышка может окончиться очень скоро.

Тихонов вновь погрузился в письмо, сообщил, что со старым аэродромом пришлось расстаться, в результате фрицевского нажима они отступили и очень скоро он может увидеть свою родную Волгу.

Он оторвался от бумаги, невольно вздохнул: на их аэродроме находилось в то тяжелое утро двадцать шесть самолетов. Налет немцев был внезапным – едва рассвело, появилась целая армада «юнкеров», прозванных остроязыкими фронтовиками «лаптежниками», – прозвали их так за широко растопыренные тяжелые шасси, раскинутые, как громоздкие лапы по обе стороны крыльев, накрытые сверху округлыми железными получехлами, похожими на колпаки... «Юнкеры» шли волнами – волн было четыре и каждая из них выплевывала на землю два десятка бомб.

В результате от аэродрома остались одни лохмотья: комья земли, перемешанные с равными кусками дюралья, жести, бетона, колотым кирпичом и обрубками деревянных построек, вывернутыми с корнем тополями, которыми по всему периметру была обсажена территория воинской части, смятыми кустами, беспощадно изрубленными, разодранными на части останками истребителей, приготовившихся было к взлету, но опоздавших взлететь...

Из сорока летчиков, насчитывавшихся в полку, в живых остались только шестеро, из батальона аэродромного обслуживания – восемь человек: слишком неожиданной была атака немецких бомбардировщиков. Ободренные, запыленные, пропитанные пороховой копотью, наспех перемотанные бинтами, остатки авиационного полка отступили.

Немцы обошли аэродром стороной – знали, что летунов там было немного, одной бомбой можно было прикончить всех, посчитали, что вряд ли кто из них остался в живых и время решили не терять... Ну кто там может выжить? Какой-нибудь одноногий калека, оглушенный и ослепленный, который никогда уже не сумеет забраться в самолет, этот человек – уже не воин... И немцы, не задерживаясь, поспешно устремились на восток.

Остатки личного состава полка двинулись за немцами следом, – надо было выходить к своим, но через сутки в ночной стычке группа была рассеяна и те бойцы, которые вместе с Тихоновым приняли последний бой у этого оврага, – это уже новый состав группы, собранный по пути.

Люди, ранее не знакомые друг с другом, придавленные осознанием того, что отступают, незнанием обстановки, неизвестностью, усталостью, голодом, они выполняли приказы Тихонова так же беспрекословно, как если бы находились в своей родной части, понимали, что поодиночке они пропадут, вместе же – выйдут к своим.

Не все, конечно, выйдут, но кому-то повезет, обязательно останется жив и увидит своих.

Обо всем Тихонов, конечно, писать не собирался, – незачем пугать родных, но кое о чем рассказать надо.

Тишина затягивалась. Неужели фрицы забыли о своих карателях, неудачно вознамерившихся наказать окруженцев? Забыть не должны. А с другой стороны, чем дальше их нет, тем лучше – группа уйдет подальше, и это главное. О себе Тихонов не тревожился – судьбу свою он определил... Определил сам.

Из оврага подуло сырым холодом, Тихонов дохнул его и почувствовал, что в груди что-то застряло, закашлялся, – движение воздуха начиналось где-то под землей, в пластах, где скапливалась, прежде чем прорваться наверх, ключевая вода.

В таком овраге долго не просидишь – нужна шинель.

«Предстоящий бой будет трудным, может быть, даже самым трудным в моей жизни, – написал он, – и здесь ничего не поделаешь: всякая победа стоит дорого...» Несколько минут он сидел неподвижно, молчал, вслушивался в пространство и в самого себя, потом снова взялся за карандаш – понял, что надо спешить, тишина скоро кончится.

«Прощайте, дорогие мои, вы всегда окружали меня теплом и любовью, спасибо вам. Люблю вас, поэтому знайте, что в последние минуты своей жизни я думал о вас и о своей родине». Немного поразмышляв, он сделал поправку, слово «Родина» написал с большой буквы.

Лейтенант свернул бумагу треугольником – получилось воинское послание, так на фронте солдаты сворачивали свои письма и отправляли домой, треугольнички эти были очень популярны и в тылу, и на передовой, их ждали везде.

На треугольнике Тихонов написал адрес: «Сталинградская область, хутор Большой Фоминский» – и фамилию матери, положил письмо в полевую сумку-планшетку, а чтобы планшетка не потерялась, наплечный ремешок ее прихватил кожаным поясом.

Где-то вдалеке, непонятно только, где именно – то ли в воздухе, то ли на земле, то ли под землей, – неясно где, в общем, послышался тяжелый размывающийся по пространству гул. Что это? Снова идут немецкие танки? Или происходит что-то еще?

Тихонов приподнялся над влажной земляной закраиной, взгляделся в поле, украшенное немецкими трупами, – поле было неподвижно, никого на нем, кроме тел, не было, только кузнечики выводили свои незамысловатые мелодии да писклявый ветер добавлял свой несильный голос в общий хор.

Через мгновение гул накрыл этот хор, Тихонов даже подумал, что к оврагу все-таки направляются немецкие танки, но это было не так. Да и какой смысл танкам штурмовать овраг – и накладно, и опасно, без происшествий может не обойтись, – завалится танк в земляную

пройму, оттуда его уже не вытянешь ни тягачом, ни трактором, ни двумя другими танками, машина вляпается во влажную плоть, как в трясины.

Прошло еще немного времени, и он понял, что гул исходит сверху, откуда-то из облаков. Поскольку на аэродроме он кое-чему научился (по части воздуха), в том числе и различать голоса моторов, то понял – идут два самолета. Скорее всего, оба – «лаптежники». Идут на низкой высоте.

Через полминуты над оврагом пронеслись два «юнкерса» и тут же начали набирать высоту. Тихонов удивленно приподнялся, посмотрел им вслед. То, что они задрали носы, чтобы разорвать наползающие облака, – примета плохая. Это означает, что они сделают разворот и вернутся. Скорее всего, будут бомбить.

Два «юнкерса» могут превратить овраг во что угодно – в мусорную яму, в некую мешанину, где ничего целого не останется – ни деревьев, ни ручья, ни кустов, ни лебеды с крапивой – только разворошенная, перевернутая вверх дном земля да вонючая пороховая окалина, больше ничего.

Сражаться с самолетами, если под руками нет зенитной установки, бесполезно... Пожалуй, такое случилось у Тихонова на фронте впервые – он почувствовал себя беспомощным. Стиснул зубы, помотал протестующее головой: чего-чего, а жизнь свою надо продать подороже... Неужели он не сумеет поставить самолетам какую-нибудь преграду?

А какую преграду он может поставить, что сумеет организовать? Соорудить завал из бревен? Накидать до облаков кучу соломы? Подкинуть вверх фуражку и сбить ею «лаптежник»?

Самолетный гул пропал, но тишина длилась недолго – в облаках снова послышался тяжелый надрывный звон – «юнкерсы» возвращались.

Тихонов ощутил, как в глотке у него возникло что-то острекающее, жесткое, машинально потянулся к снайперской винтовке.

Месяца три назад ему встретился один счастливчик-сержант, шофер бензозаправщика, который сбил «лаптежника» из скорострельной винтовки; ему повезло, он выстрелил в фонарь, в расплывающееся в глубине пятно, – это было лицо пилота, – и попал. Пилот проглотил пулю и вместе с самолетом пошел к земле.

Правда, второй немец сжег заправщик сержанта до остова – ничего не осталось. Сам сержант, слава богу, уцелел.

Но счет таким историям очень невелик, они случаются редко. Так редко, что фронтовики в них почти не верят.

«Лаптежники» пикировали на овраг с визгом, будто съезжали с ледяной горы, человека с винтовкой пилоты не видели, он прикрыт зеленым лещинником, сидел под разлапистыми кустами, как туземец в засаде, и ждал.

«Юнкерсы» сбросили по бомбе, обе скатились в овраг и громыхнули внизу, в стороне от лейтенанта, подняв столб рыжей грязи – такой густой, что сделалось темно, взрывы будто навозом залепили небо.

Опрокинувшись на спину, Тихонов успел снизу всадить две пули из снайперской винтовки в «лаптежник», пронесшийся над ним, но тот ничего не почувствовал. Пилот потянул штурвал на себя, и самолет, задрав нос, снова устремился в небо, в серую мглу облачного пространства.

Жаль, что мимо. Тихонов даже сморщился от боли, хотел выстрелить через плечо вдогонку, в хвост «юнкерса», но сдержал себя – выстрел был бы пустым, только патрон сжег бы и все, – заставив, Тихонов перевернулся набок и оперся локтем о покатуго земляную полку.

Раз самолеты ушли за облака, значит, будут снова бросать бомбы.

– Сволочи! – просипел Тихонов, поморщился: бинт, перетягивавший раненую ногу, украсился ярким красным пятном.

Выдернул из магазина обойму, добавил в нее два патрона, с силой сдвинув сидящие там заряды большим пальцем правой руки, затем загнал обойму обратно, в ствол также сунул патрон, прижал его бойковой частью затвора. Просипел довольно:

– Теперь – полный порядок, – сипенье его перешло в хрип, – можете налетать!

«Лаптежники» перестроились, взяли немного правее, – а если смотреть с земли, то левее, – шли они низко, были уверены, что нет такой силы, которая могла бы остановить их, – держались, как победители...

Хотя и был лесинник густ – ничего не увидеть, и поросль деревьев, тянувшихся со дна оврага, была плотна, впору разрезать топором и пилой, а свободные прогалы все-таки были.

Неожиданно в таком прогале на фоне недоброго пасмурного неба лейтенант увидел темный бок немецкого самолета, украшенный свежим крестом, прямо над крестом светлел колпак пилота; за стеклом колпака была видна голова в кожаном шлеме.

Тихонов ткнул в сторону этой головы стволом винтовки и в то же мгновение выстрелил, стремительно, как на охоте, перезарядил, – на это он потратил всего несколько мигнов, – выстрелил вторично.

«Лаптежник» исчез – промелькнул, как страшная тень, будто и не было его вообще, моторы заревели заполошно, с перегревом, затем раздался громкий треск, к треску прибавился вой, и земля под лейтенантом неожиданно всколыхнулась с такой силой, что он чуть не скатился на дно оврага. Закричал, попытался сдуть крик зубами либо загнать его внутрь, в себя, но это Тихонову не удалось.

Ему показалось, что бомба взорвалась под ним, но в следующую секунду понял: это не бомба, не она взорвалась, а немецкий «лаптежник» всадились в поле, расположенное по ту сторону оврага.

– Хэ-э-э! – восхищенно закричал Тихонов, крик его был похож на клич древних степняков, оборонявших когда-то эти земли, позже земли эти охраняли казаки и клич перекочевал к ним, – лейтенант, кажется, даже забыл о раненой ноге, о доле, которую сам себе определил... – Хэ-э-э!

Насчет доли. В последний раз он обращается в мыслях к этому – больше не будет. Да и возможностей у него для этого не будет. Поступить по-иному он не мог. Если бы он пошел с группой, то мертво сковал бы ее – с раненым группа потеряла бы всякую маневренность и немцы, уже зацепившие надоевших окруженцев, вряд ли бы упустили шанс убрать их всех вообще.

А до Волги так мало осталось идти – всего ничего, максимум – две ночи. Дай бог, чтобы ребята дошли.

– Хэ-э-э! – вновь радостно, горласто закричал Тихонов.

Овраг быстро затянуло дымом. Дым был жирный, пахнул горелым маслом, чем-то еще, химическим, неприятными ватными лохмотьями цеплялся за ветки орешника, прилипал, зеленые листья беспощадно окрашивал в черный асфальтовый цвет, неприятной пленкой обтягивал крутые земляные склоны.

Тихонов стиснул зубы до скрипа, сжал правую руку в кулак, ударил им по воздуху, будто забил гвоздь. На хуторе их, Большом Фоминском, всегда рождались и всегда жили солдаты. Что дед, что отец, что те предки, которые обитали на той земле еще до деда и хорошо знали цену ратному казачьему труду.

Некоторое время он сидел неподвижно, думал, что, может быть, в письмо добавить строки о сбитом «лаптежнике» – пусть порадуются родные, но потом подумал, что не стоит этого делать, может, это вовсе и не он завалил разбойника, может, стрелял кто-то еще, да потом кто знает – вдруг пилот закашлялся или у него заболел живот, либо произошло что-то еще, и тогда получится, что Тихонов припишет себе чужую победу.

Немцы словно бы решили снова наступить на знакомые грабли – неосмотрительно появились на противоположном конце поля, помедлили немного и дружно попадали на землю, прикрылись разными былками и кустиками – решили оглядеться лежа... Тактику свою они не изменили. Было немцев много – не менее взвода.

Серая непроницаемая простынь неба обрела какой-то неряшливый комкастый вид и неожиданно быстро расплзлась, кое-где проглянула чистая голубизна. Голубизна не оказалась пустой – на землю пролился теплый солнечный свет, родивший внутри у лейтенанта победное, торжествующее чувство.

Немецкий взвод в полосу света попал целиком – все до единого стали видны, как на ладони. Кое-кто из фрицев даже заерзал неловко, попробовал отползти в тень, но ползти было некуда, тень находилась далеко; лейтенант аккуратно просунул между ветками лещины ствол винтовки, приник к прицелу...

Стрелять, конечно, было не с руки, не очень удобно, но бить по самолету было, например, еще неудобнее, поэтому стрелять нужно было. Главное – выбрать момент. Еще по военному училищу, по киевским полигонам Тихонов помнил, насколько бывает сложна стрельба из снайперской винтовки: если на пути пули, вымахнувшей из ствола, окажется какой-нибудь жалкий листок или тощая травинка, то свинцовая плоская, закованная в латунную оболочку, обязательно изменит свое направление и пройдет мимо цели.

Ругают обычно, конечно, винтовку, а не пулю, и не стрелка, хотя винтовка часто бывает совсем ни при чем.

В прицел Тихонов увидел солдата в каске, украшенной двумя «молниями», что свидетельствовало о принадлежности пришедшей команды к СС, в следующий миг немец, словно бы почувствовав, что его разглядывают в окуляр, поспешно сунул голову в траву.

Трава хоть и росла непокорным ежиком, не гнулась, и роста была невеликого, а голова эсэсовца скрылась в ней целиком. Вместе с каской.

Присмотревшись к этому месту потщательнее, Тихонов стал ждать. Ждал, впрочем, недолго, характер у фрица оказался нетерпеливый, через полминуты он снова вздернул голову над травой, глянул в одну сторону, в другую, ничего интересного не увидел... Лейтенант нажал на спусковой крючок винтовки.

Попал немцу точно в висок, удар пули был сильный, эсэсовцу чуть не оторвало голову, тело приподнялось над землей, из рук, разом ставших бескостными, лишившихся мышц, вылетел автомат, шлепнулся рядом с телом, фриц дернул один раз правой ногой, потом второй раз, тело его пробил мелкая дрожь, и он затих.

Ударило сразу несколько автоматов, застрекотавших, словно швейные машинки, голоса «шмайсеров» слились в один, общий, какой-то клочковатый, рябой, с металлическим отзвуком.

Били немцы вслепую, – почти вслепую, – поскольку винтовка лейтенанта в стрельбе себя никак не обозначила, не было ни одной вспышки, поэтому автоматная пальба никакого вреда Тихонову не принесла.

Перебираясь с одного места на другое, лейтенант задел раненую ногу, боль проколола его насквозь, Тихонов попробовал зажать стон зубами, но не одолел ни стона, ни боли... Эх, были бы какие-нибудь таблетки, которые гасят боль либо вообще снимают ее, – увы, таких таблеток не было. Их вообще не было в Красной Армии, а жаль.

Впрочем, лейтенант верил, что наступит пора, когда они появятся, обязательно появятся, поскольку воюющему человеку без них не обойтись.

Он снова притиснулся к винтовке, глянул в окуляр прицела. Через несколько секунд поймал фуражку. Фуражки во время боевых действий позволялось носить только офицерам. Козырек у эсэсовского командира был нахлобучен на самый нос, к козырьку был плотно притиснут

корпус бинокля, словно бы офицер этот, как некое вземное чудовище, вместе с биноклем и родился.

Немец внимательно разглядывал закраину оврага, пытаясь определить, сколько же русских здесь засело.

Зажав зубами дыхание, чтобы цель не выпала из прицела, Тихонов сделал поправку и неспешно, сдерживая себя, нажал пальцем на спусковой крючок.

Звук выстрела был слабым, он из оврага, похоже, и не выплеснулся, а вот отдача приклада была такая, что боль проколола не только плечо, но и раненую ногу.

Фуражка на офицерской голове приподнялась, словно бы у фрица дыбом встали волосы, бинокль выпал из рук, на мгновение Тихонов увидел глаза немца – темные, с белесым налетом, оставленным пространством, с неким беспомощным изумлением, возникшим в зрачках: эсэсовец не верил, что его убили.

В следующий миг глаза исчезли – немец ткнулся физиономией в землю. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от головы, в сухую жесткую траву шлепнулся его бинокль, перевернулся и уперся сильными яркими линзами в небо. Тихонов осторожно, чтобы ни одна былка не отозвалась на движение дрожью, вытащил из широких листьев лещины ствол винтовки, вернулся на старое место, где лежал трофейный автомат, – ему показалось, что точка, с которой он снял офицера, была засечена.

Чутье не обмануло Тихонова, стрельба, которую открыли с той стороны поля, была прицельной, автоматные очереди посшибали с лещины все, что на ней было, вплоть до гнилых рогулин, сделали ветки голыми.

Похоже, день нынешний был урожайным для Тихонова. При всем том лейтенант понимал, что это – последний день его жизни, никаких надежд на будущее нет и никакие иные сюжеты на эту тему уже не родятся. Последний бой есть последний бой.

Главное, чтобы окруженцы ушли как можно дальше, оторвались от эсесовского, – и не только эсесовского, – преследования, уцелели... О себе Тихонов по-прежнему не думал. А чего, собственно, думать-то, – тем более сейчас? Этим он занимался в прошлом, в школьные и курсантские годы – уделял немного свободного времени своей фамилии и собственной персоне.

Раза три, – или даже четыре в его короткой жизни, – кадровики озадачивали странным вопросом: «Родители назвали вас Николаем, случайно, не в честь знаменитого поэта Николая Тихонова?»

Вопрос этот не только вызывал некую озадаченность, но и раздражение, Тихонов старался сдерживать себя и отвечал коротко и жестко, будто отрубал кусок проволоки:

– Нет, не в честь.

Впрочем, однажды он не сдержался, не стал сдерживать себя, отпустил тормоза и сказал интеллигентной старушке, выписывавшей ему абонемент в кинолекторий:

– А вы пойдите от обратного и проанализируйте: может, поэт Тихонов взял это имя в мою честь? Такое может быть?

Старушка согласилась с ним и произнесла очень добродушно:

– А почему бы и нет?

– Вот именно, – не поддержал ее добродушного тона Тихонов, – но на всякий случай мне остается только одно: научиться писать стихи.

Колючесть его старушку не обидела, она вновь добродушно улыбнулась.

– Это тоже может пригодиться в жизни, молодой человек, – проговорила она ровным благожелательным тоном и подчеркнула, словно бы намекая, что Тихонов еще недостаточно пожил на свете, чтобы иметь право на колючие суждения и менторский тон, – м-да, молодой человек! Пожалуйста в мир кино, – она протянула Тихонову узкий бумажный прямоугольник, состоявший из десятка отрывающихся листков, – заветный абонемент.

...Что только не приходит в голову в такие минуты, как эти? Однажды Колька Тихонов поехал с отцом в Сталинград на рынок продавать разделанного поросенка – это первым номером, а вторым – купить себе кое-что по хозяйству, и услышал от одного парня, чей рот был богато украшен золотыми фиксами, странно прозвучавшую, но очень интересную фразу: «Мерси вас!»

Парень вел себя нагло, посверкивал фиксами, разбойно шурил глаза и, не торгуясь, заплатил за мясо меньше, чем было положено; отец, обычно считающий, что все в жизни должно совершаться по справедливости, честно, почему-то не стал возражать. Взамен получил странное:

– Мерси вас!

Когда парень отошел от телеги, держа в руке кусок свежей поросятины, завернутый в газету, Колька Тихонов проводил его внимательным взглядом и спросил у отца:

– Кто это?

– Местный уркаган.

– Кто-кто?

– Ну, гоп-стопник. Или можно сказать так – блатной. Понял?

Колька все понял: блатной – это человек с ножом; отец потому отпустил гоп-стопника, что боялся нарваться на финку, причем не за себя дрогнул, а за Кольку, за него дрожал и боялся, – присутствие сына при этой сцене было бы совсем нежелательно. Колька и это понял, спросил только:

– Откуда он знает французский язык?

– Он его совсем не знает. А «мерси вас!» – это обычная присказка блатных.

Отец был опытным человеком, знал все или почти все и умел доходчиво объяснять разные сложные штуки.

Когда Тихонов получил киношный абонемент из рук старушки, то ему захотелось сказать «по-французски»: «Мерси вас!» – но он лишь благодарно приожил руку к груди, тем и ограничился. Мог бы, конечно, и козырнуть лихо, припечатать ладонь к козырьку фуражки, но он сделал то, что сделал...

Немцы прекратили стрельбу и залегли, что называется, основательно. После гибели двух человек они замерли, даже шевелиться перестали в траве. Тихонов поскреб пальцами подбородок, жестяно заскрипевший под его рукой. Он давно не брился. Но бриться уже было поздно, да и бритве уже ничего не даст...

В ту поездку в Сталинград на базар Колька Тихонов услышал и другие словечки, ранее не слышанные и показавшиеся ему интересными. Например, «чехты», «ляпаш», «таджмахала», «карак», «гадильник», «яб»...

Сдвинув кепку на нос, Колька заинтересованно ждал, когда отец рассчитается с последними покупателями. Когда он наконец освободился, младший Тихонов почесал ногтями затылок, как расческой, и спросил:

– Батя, скажи, что такое чехты?

– На блатном жаргоне это – конец.

– А гадильник?

– По-моему, милиция – отдел, отделение, околоток, не знаю, как это у них называется, – не знаю... В общем, милиция.

– А яб? – Колька чуть не споткнулся: слишком уж слово походило на матерное, но все же благополучно перевалил через него.

– Ябами зовут барахольщиков, скупающих краденые вещи.

Отец знал все, не было вопроса, на который он не мог бы ответить, и Колька Тихонов был горд им: редко кто из его ровесников имел такого грамотного отца, а точнее, никто не имел – Колькин отец был лучшим.

Старший Тихонов также ушел на фронт, только где он сейчас находился, в каких частях и где конкретно воевал, Тихонов-младший не знал. Дай бог, чтобы отец остался жив, такие люди, как он, не должны погибать...

С немецкой стороны послышалась трель свистка – лейтенант впервые слышал, чтобы фрицы так заливисто свистели, музыканты просто, – то ли сейчас они пойдут в атаку, то ли подождут немного...

Что означали эти трели, догадаться было трудно, надо знать язык свистков: либо минутную готовность к отступлению, либо сигнал к предстоящей атаке, либо еще что-то – например, команду: перед атакой заправиться макаронами с мясом и запить желудевым кофе с молоком.

Под звуки фельдфебельского свистка немцы стихли вновь и дело на этом закончилось. Никогда Тихонов не сталкивался с таким поведением фрицев. А может, это и не немцы были вовсе, а какие-нибудь усташы или албанские погонщики ослов... Хотя усташей вряд ли бы взяли в эсесовскую часть и тем более не взяли бы неграмотных пастухов, пасущих в горах скот...

Масляный, с черными хлопьями дым, длинным шлейфом тянувшийся от подбитого самолета, вскоре отошел, обратился в редкий, хотя и жирный хвост, а потом и совсем иссяк. «Лаптежник» сгорел на удивление быстро.

Тихонов подумал, что немцы чего-то или кого-то ждут – то ли технику какую, способную бороться с засевшими в овраге окруженцами, то ли авиацию, которая уже пыталась им подсобить, но ничего не сумела сделать – вон, один из летунов уже жарится на пламени собственных костей, то ли подмогу основательную из полусотни опытных карателей – фрицы ведь не знали, сколько человек сидит в овраге и держит их на мушке... Если бы знали, вели бы себя не так.

Лейтенант тоже ждал.

Одна из самых мучительных и сложных вещей для человека – это ожидание. Ожидание изматывает так, как не может измотать ничто другое. Хотя кто-то из умных иностранцев сказал очень точно: «Способный терпеть может добиться всего, чего он хочет».

Он был прав, этот старый мудрый философ, терпением при таком раскладе можно добиться больше, чем силой. Главное, чтобы в запасе было хотя бы немного времени.

На немецкой стороне вновь раздался резкий тройной свисток – точнее, три коротких свистка, всколыхнувших теплый воздух и слившихся в один, в то же мгновение часто и дружно ударили автоматы.

Тихонов поспешно нырнул за плотную, словно бы специально утрамбованную закраину, – прикрытие было надежным, – через минуту выглянул... Немцы, не прекращая огня, прижимая автоматы к животам, поднимались из травы.

Было их много, пожалуй, на два десятка больше, чем было раньше.

Лейтенант сбросил предохранитель на затворе винтовки и на ходу поймав мушкой одного из атакующих, тут же выстрелил, выбил дымящуюся гильзу и снова загнал в ствол патрон. Того, как свалился и задержался в траве подстреленный гитлеровец, он не видел, прежняя цель уже находилась вне поля его зрения и уж тем более – вне поля его действий.

Через мгновение он выстрелил опять и подшиб еще одного гитлеровца.

Но и эта потеря не остановила шеренгу немцев, шагавших на лейтенанта. Такое впечатление было, что пока они лежали в траве, пока слушали свистковую музыку, приняли по сто пятьдесят «наркомовских» граммов, не иначе. Или какие граммы выдают в вермахте вместо «наркомовских»? Фюрерские, геббельсовские, гитлеровские?

Выстрелить в третий раз Тихонову не удалось – в плечо ему, отщепив кусок приклада, всадились автоматная пуля, он замычал глухо, покрутил головой, шалея от боли, в следующий миг справился с собой, передвинул приклад на грудь, прижал покрепче, но тут ему в грудь вонзилась пуля. Пространство перед Тихоновым окрасилось в мутный красный цвет.

Но что было плохо особенно – в этой мути исчезли фигуры надвигающихся на овраг немцев. Лейтенант застонал, уронил голову на закраину. Попробовал пальцами протереть глаза – ничего не получилось, лишь муть сделалась еще гуще, еще неприятнее. Неожиданно перед ним возникло лицо – очень знакомое, бородатое, старое, с насмешливыми и добрыми глазами... Родное лицо. Это был очень близкий ему человек.

Лейтенант узнавал и одновременно не узнавал его. И только, когда старик улыбнулся ему, понял: это же дед Павел, глава их казачьего рода. В жизни Тихонов никогда не видел его, не удалось, дед погиб раньше, чем родился Колька, а вот фотоснимки дедовы на хуторе есть, целых четыре, висят в избе на стенке – на видном месте, в лаковых киотках.

Были еще снимки, которые не вывешивали в киотках, прятали – причем старались засунуть куда-нибудь подальше, не дай бог, увидит партийный или комсомольский секретарь – беды тогда не оберешься. На одном из них дед Павел был сфотографирован в парадном казачьем мундире, при шашке, с двумя серебряными Георгиями и двумя медалями на груди, награды очень украшали облик старшего урядника Павла Тихонова...

На фото, выставленных в киотках, дед Павел также был изображен в военной форме – Красной Армии, и тоже при орденах. Один из них – хорошо известный, Красного Знамени, второй, судя по всему, узбекский, «местечковый» – бухарский революционный, в Гражданскую войну такие ордена были в широком ходу.

Дед Павел разделил все тяготы и беды начала двадцатого века, войн и стычек той поры, вплоть до самой страшной войны, которая только может быть на свете – Гражданской.

Как-то хутор их, – а по казачьему разделению Большой Фоминский был приписан к станции Крыницкой, – вошел отряд белых во главе с дородным седоусым есаулом, у которого пузо было таким же объемным, как и живот у его лошади.

Есаул, поигрывая нагайкой, у которой рукоятка была похожа на дорогое произведение искусства – украшена тонким латунным рисунком, сказал деду Павлу:

– Цепляй, казак, на рубаху погоны вахмистра и с нынешнего дня приступай к службе в моем отряде. Толковых командиров у меня не хватает.

Дед Павел отрицательно покачал головой:

– Не могу! – Он снова энергично покачал головой. – Извиняйте, что не могу!

Есаул свел брови в одну линию:

– Это почему же ты не можешь, а? Из казачьих войск уволился, что ли?

– Никак нет, ваше высокоблагородие, не уволился. Земля на хуторе в мое отсутствие очень уж худородной стала, совсем отошала... Надо бы землю малость подправить, подкормить, а потом и повоевать можно.

– Значит, не пойдешь ко мне вахмистром?

– Не пойду, ваше высокоблагородие.

Есаул хлопнул рисунчатой рукоятью нагайки по ладони, лицо его нехорошо одрябло и сделалось злым. Предупредил георгиевского кавалера:

– Смотри, не пожалей об отказе, – и поскольку дед Павел не пожалел и это было естественно, он вообще никак не отреагировал на угрозу, есаул повысил голос, который у него сделался визгливым, почти бабьим, и приказал: – Всыпать двадцать плетей этому хрену на деревянной палочке!

К деду, тяжело дыша чесноком, съеденным на соседнем хуторе, немедленно подскочили трое подручных есаула во главе с хорунжим, – по-нынешнему лейтенантом, – думали, дед будет сопротивляться, но он сопротивляться не стал, понимал, что дурак-есаул вообще может отдать приказ расстрелять и казака-фронтовика расстреляют, не раздумывая ни минуты...

Вот такие времена наступали в те годы в России.

Деду Павлу оголили спину и всыпали двадцать плетей. С отяжкой, оставляя на коже бугристые багровые следы с проступающей на них кровью.

Получил дед отведенные ему животастым есаулом плети сполна, но в подчинение к дураку не пошел. И землей своей заниматься не стал, решив, что есть дела поважнее, – записался в Красную Армию. Добровольно. Есаула за его неумную политику надо было наказывать, а сделать это он мог, только находясь в красногвардейских частях.

Воевал дед Павел отменно, – старый пластун из разведкоманды, он знал, как держать оружие в руках. И все-таки судьба фронтовая сложилась у деда неудачно: в одном из боев изворотливый беляк – такой же ловкий казак, как и Тихонов, – сумел дотянуться до него острием сабли. Попал точно в сердце – отважный дед Павел не выжил.

Потом земляки из кавалерийской бригады, в составе которой дед воевал, – трое виновато понурившихся бойцов в гимнастерках, украшенных красными бантами, привезли на хутор дедовы шашку и папаху.

– Умирая, Павел Петрович Тихонов просил передать это внуку, – сказали они, передавая дорогие дедовы вещи в дом, – велел исполнить его волю. Наказал также никогда не вынимать впустую из ножен шашку... Велел всегда помнить, что это – великий грех.

Наказы деда Павла лейтенант усвоил хорошо, постарался впечатать их в память как можно прочнее, науки дедовы тоже усвоил... Дед был очень толковым пластуном, знал много боевых приемов и успел передать их своему сыну, а тот по цепочке – уже Николаю. Назывались дедовы науки в старину знатно – «казачий спас». Казачий спас учил людей картошку печь без огня, лечиться без лекарств, чинить обувь без шила и дратвы, из любой, самой дремучей чащи, где невозможно сориентироваться, выходить точно в нужное место, переплывать под водой большие реки, невидимо для врага, прятаться так надежно, что ни чужие, ни свои не могли найти, без веревок забираться на крыши высоких зданий и макушки дымовых труб, превращая эти точки в наблюдательные пункты, и так далее... Науки деда Павла здорово помогли лейтенанту Тихонову.

Да и умение метко стрелять – это, наверное, тоже от деда Павла, его наследство... В крови передалось, из крови в кровь.

По глазам деда Павла, по беспокойному выражению, возникшему в них, лейтенант понял, что дед тоже видит его, знает, кто находится перед ним, готов помочь, но помочь ему не дано...

Оба они пребывали сейчас словно бы в полосе тумана или дыма, в разных измерениях, спустя мгновение между ними пронеслась некая потусторонняя сила, постаралась смешать все предметы и вообще как при взрыве разбросать все, что находилось рядом... Тихонов замотал головой протестуя, прокричал что-то, но крика своего не услышал, слова его, наполовину немые, были неразборчивы – смятые, сбитые в сырой неряшливый комок слова...

Он протянул к деду здоровую руку, вторую протянуть не смог – рука сильно отяжелела, да и к прежней боли прибавилась боль новая, он улыбнулся прощально, дед в ответ озабоченно покачал головой. Уголки рта, спрятанные в бороде, раздвинулись, лицо сделалось шире, борода – окладистее, дед хотел что-то сказать Тихонову, но не смог, растворился в слабо шевелящейся дымке то ли невидимого пространства, то ли небытия.

Лейтенант ощутил, что он лежит на сырой липкой земле, на закраине оврага, щеку ему обжигает что-то очень холодное... Он застонал, в следующий миг попробовал сдвинуть стон зубами, зажать его, но не тут-то было, боль оказалась сильнее его возможностей.

Стон услышали немцы, по лещиннику снова ударили автоматы, а потом откуда-то сверху, картинно кувыркаясь, скатилась граната на длинной деревянной ручке и, шлепнувшись рядом с лейтенантом, замерла – влипла в вязкую плоть земли, застряла в ней, как в густом повидле.

Лейтенант знал, что у немецких гранат время от удара бойкового механизма о капсулю (граната взводилась автоматически во время броска) до взрыва на две или три секунды больше, чем у наших, советских гранат и, извернувшись, словно большая рыба, одолевая боль, цапнул гранату пальцами, чтобы швырнуть ее в приближающуюся цепь, либо просто пустить по склону вниз, но времени Тихонову не хватило.

Немецкая граната взорвалась у него в руке.

С ореховых веток слетели последние листья, лейтенанта вдавило в землю, посеколо, полевою планшетку, висевшую у него на боку, оторвало и вместе с листьями смело на дно оврага.

Очень удивились немцы, когда обнаружили, что отступление окруженцев прикрывал всего один человек, и тот был изрублен пулями и осколками донельзя. Больше в овраге никого не оказалось. Группа красноармейцев, которую было приказано уничтожить, благополучно оторвалась от преследования.

Хотя не совсем благополучно – в одной из стычек группа потеряла еще одного человека – зенитчика Фомичева. Остальные дошли до своих.

Побежимов, оставшийся в группе за командира, рассказал о последнем бое лейтенанта Тихонова, а потом и написал об этом в своем донесении, не забыв подчеркнуть, что лейтенант сумел подбить тяжелую технику противника, скорее всего – самолет.

Поскольку группа отрывалась от немцев бегом, лишь иногда переходила на скорый шаг, иначе было не оторваться, то на бегу они засекли за спиной тяжелый взрыв, а потом – высокий черный столб, поднявшийся до середины неба. Все это произошло в районе оврага, в котором остался раненый лейтенант.

Сведения Побежимова проверили войсковые разведчики и подтвердили: недалеко от оврага, в поле, лежит сгоревший, развалившийся на части «юнкерс».

Посмертно лейтенант Тихонов был представлен к ордену Красной Звезды. Орден был привезен в родной хутор Тихонова уже после войны и на общем собрании жителей вручен матери лейтенанта.

Через двадцать пять лет после этого торжественного события волгоградские поисковики, работавшие в местах бывших боев, нашли в овраге, где Тихонов держал последнюю свою оборону, покоробленную, ставшую фанерно-жесткой от времени и влаги полевою планшетку.

В планшетке той лежало прощальное письмо лейтенанта. Сохранилось письмо, не погибло. Лишь в двух местах бумагу взяла плесенная прель, в одном месте оставила свой след какая-то мелкая бумагогрызка, – ну словно бы дробью секанула по письму, прошлась острыми зубами, а в остальном ничего, строчки не пропали, не смылись, слова сохранились все до единого.

Содержание письма было, конечно, обычное, от него даже фронтом особо не пахло, но часть присутствующих, – прежде всего женщины, которые помнили войну, – заплакали: ведь это письмо было вестью из того времени, которое они помнили, помнили и поминали в своих молитвах, в песнях, в разговорах, в думах, которое, будто ожог вызывало у них слезы.

Вызвало слезы и сейчас. Память о беде, даже минувшей, обычно сидит в человеке долго. Так было всегда.

Письмо вместе с планшеткой и фотоснимком лейтенанта Тихонова, присланными с хутора, отправили в областной центр, в краеведческий музей: место этим свидетельствам того задымленного, закопченного, тяжелого, яростного времени было там, и только там.

Жители же Большого Фоминского объявили у себя денежную подписку, сложились, и вскоре на земле, где погиб их земляк, поставили блестящую, мастеровито сваренную из нержавеющей стали пирамидку, увенчанную золотистой латунной звездой, а на боку памятника написали, какой подвиг здесь был совершен...

И еще. Последнее, как иногда говорят мудрые теоретики, а их поправляют практики, имеющие хороший опыт: «Не последнее, а крайнее»... Всякая война, даже малая, – это проклятое пекло, так просто и горько высказался один писатель-фронтовик, пекло, в котором сгорают все: и судьбы человеческие, и сами солдаты, и техника, и города с селами и даже целые государства. Все это, увы, так. Сгорает лучшее, что сумела создать матушка-природа – в боль-

шом количестве погибают люди, к войне никакого отношения не имеющие, в том числе и самородки, нацеленные на мирную жизнь и созидание, извините за выпренный слог, конструкторы завтрашнего дня, погибают лучшие и прежде всего – таланты. Война обладает страшной способностью распознавать их в первую очередь, находить и уничтожать.

Кто знает, может быть, из Тихонова получился бы второй маршал Рокоссовский или полководец Конев, но он погиб лейтенантом. Выполнил свой солдатский долг и лег в землю.

Все, что произошло с Тихоновым, вплоть до сбитого из простой снайперской винтовки самолета, все, что описано в повести, – правда. Все это было, было!

Узнав историю Тихонова, я подумал невольно: а ведь наверняка в его биографии есть натяжки, без натяжек, как во всяком приключенческом повествовании, не обойтись, но на проверку оказалось – натяжек нет. И жизнь довоенная, в чем-то безмятежная, в чем-то трудная, была у Тихонова именно такой, и пойманные диверсанты на улице маленького городка были, и подстреленный «лаптежник», и георгиевский кавалер дед Павел, погибший в Гражданскую, и добровольное восхождение на плаху, и гибель в бою – все это было у лейтенанта, выпускника Киевского пехотного училища. Кстати, фамилия лейтенанта – подлинная...

Мне оставалось только взяться за ручку и изложить то, что вы только что прочитали...

И пожелать всем нам: не допусти Господь еще одну войну на нашу землю!

СПИСОК ВОЙНЫ

Пополнение привезли на четырёх новеньких «зисах» – машинах завода имени Сталина, сработанных на скорую руку уже на Урале, а не в Москве, с пахнущими краской кабинами, с фарами, на которые были надеты колпаки с прорезями, чтобы ночью свет автомобилей не был виден с воздуха и машины не атаковывали немецкие самолёты, с кузовами, битком набитыми людьми в солдатской форме.

Часть прибывшего пополнения была уже потёрта фронтом, покарябана – побывала в боях, получила ранения и отвалилась своё в госпиталях, часть была вообще необмята – совсем зелёные новички... Конечно, командиры, приехавшие за пополнением и разобравшие его в несколько минут, гонялись в основном за «старичками» – опытные солдаты были очень нужны, на новичков поглядывали недружелюбно и брали их к себе неохотно – слишком уж много предстоит с ними мороки, им ещё надо объяснять, с какого бока подходить к винтовке, где у неё дуло с мушкой, а где приклад с железной пластиной упора, но даже и после подробных объяснений нельзя будет считать, что новички стали солдатами...

Вот когда повоюет иной парнишка месяц-полтора, пропитается порохом до самого копчика, тогда можно будет вносить его в разные списки и ставить на настоящее довольствие. Хотя на довольствие они попадают гораздо раньше, иногда даже до того, как появятся в части.

Старший лейтенант Горшков только удивился тому, как быстро растаял строй пополнения – очень уж подсустились товарищи командиры, – с огорчением подумал о том, что надо было бы приехать минут на десять раньше, но не вышло, получилось то, что получилось, в строю пополнения осталось лишь человек пять хлипких прыщавых юнцов, один колченогий дедок с ходулями такими кривыми, что их можно использовать вместо циркуля, да приземистый человек с рысьими светлыми глазами и какой-то сожалеющей улыбкой, прочно приклеившейся к твёрдым жёстким губами.

Горшков озадаченно почесал затылок: братъ было некого.

Водители «зисов» выстроили своих железных коней в рядок и отбыли колонной – так же, как и прибыли, рядком... Едва рокот автомобильных моторов стих, как стал слышен другой рокот – где-то за облаками ходил самолёт, судя по всему, с характерным собачьим «гау-гау-гау», но поскольку облака напоззли плотные, ни одной дырки в них, пилот был слеп, как крот, его можно было не опасаться. Напрасно водители «зисов» поторопились... А с другой стороны, беспокоиться о собственной жизни никому не возбраняется. Горшков прошёлся вдоль жидкого строя оставшихся, по лицу его было хорошо видно, что он думает о сложившейся ситуации, о людях, тянущихся перед ним во «фрунт».

Впрочем, один из прибывших и не думал тянуться перед командиром – независимо поглядывал в сторону и что-то тихонько сплёвывал на землю, словно бы к губам у него прилип банный лист и он теперь скусывал его по частям.

Это был мужичок с плоским загорелым лицом и рысьими глазами.

Горшков остановился перед ним.

– Как тебя зовут?

Мужичок окинул старшего лейтенанта оценивающим взглядом, – с головы до ног прошёлся, – и ответил неторопливо, с достоинством:

– Мустафа.

– Где крещение порохом и дымом принимал, Мустафа?

– Под городом дедушки Калинина, в декабре сорок первого...

– Значит, под Калинином. А до этого где был?

Мустафа чуть приметно усмехнулся.

– В зоне.

- Сидел?
- Сидел.
- За что?
- Да так. Развлекался мало-помалу.
- Значит, серьёзно развлекался, иначе бы не посадили.

Старший лейтенант ещё раз окинул Мустафу взглядом, подумал о том, что в полку к этому человеку могут придаться, поскольку полк их, артиллерийский, считается элитным, да и вообще артиллеристы – это белая кость в армии, образованные люди, сливки, – тем не менее спросил Мустафу:

- Ординарцем ко мне пойдёшь?
- А возьмёте?
- Раз предлагаю – значит, возьму.

Мустафа поддел под ляжку тощий «сидор», висевший у него на плече, и произнёс тихо и спокойно:

– Хотя и не привык я начальству сапоги чистить, но к вам пойду, – видимо, что-то сработало в нём, он оценил командира, стоявшего перед ним, и поверил ему.

– Я, Мустафа, начальник разведки артиллерийского полка и сапоги мне чистить обязательно, если надо, я их и сам могу почистить, но вот когда пойду на ту сторону фронта, с разведчиками, со мной надо идти обязательно.

У Мустафы, когда он услышал об этом, даже выражение глаз изменилось – то ли посветлели они больше обычного, то ли загорелись – запылали в них крохотные костерки, изменили взгляд, то ли произошло что-то ещё, прошло всего несколько мгновений, и перед Горшковым стоял уже другой человек.

– Разведку я уважаю, – проговорил Мустафа прежним тихим голосом.

– Тогда поехали, друг, – старший лейтенант махнул рукой, забирая бывшего зэка, расписался в ведомости у тщедушного горбоносого младшего политрука, отвечавшего за целостность пополнения, и пошёл к своей машине – полуторке с обломанными бортами – на неё во время бомбёжки рухнуло тяжёлое дерево, – по дороге спросил: – Чтобы быть полезным в разведке, делать что-нибудь умеешь?

Мустафа неопределённо приподнял одно плечо, почесался о него щекой и произнёс простодушно:

- Не знаю. Может, умею, а может, и нет.
- Ну, например? – Горшков остановился, испытующе посмотрел на Мустафу.

Тот также остановился, сунул руку за голенище и вытащил оттуда нож. Небольшой самодельный финский нож с цветной наборной ручкой и прочными алюминиевыми усиками. Лёгким движением послал нож вниз, себе под сапоги.

Нож всадили в землю по самые усики.

– Ну и что? – недоумённо спросил старший лейтенант. – В чём фокус?

Мустафа молча извлёк нож из земли, снова взмахнул им, и лезвие вошло точно в прежний след, в прорезь, оставленную первым ударом, миллиметр в миллиметр. Горшков хмыкнул непроизвольно: а ведь действительно в этом что-то есть... Мустафа тем временем снова выдернул нож из земли и опять вогнал нож в старую щель – в третий раз не нарушил прорезь ни на миллиметр. Предложил:

– Может, попробуете, товарищ старший лейтенант?

– А ведь ей-ей, хрен повторить? – сомневающимся тоном проговорил Горшков, покачал головой, словно бы осуждая себя за что-то, потом нагнулся, вытащил нож из земли, скребнул пальцем по лезвию. – И не жалко тебе, Мустафа, такой острый нож тупить?

– Я его наточу, это дело недолгое.

Горшков задержал в себе дыхание, будто перед показательной стрельбой на учениях, примерился, внёс небольшую поправку, глядя на кончик острия прищуренным глазом, и метнул нож в прорезь, оставленную Мустафой. Крякнул досадливо – нож всадились в землю по самую рукоятку сантиметрах в семи от прорези.

– Тьфу! – сплюнул себе под ноги старший лейтенант. – Наваждение какое-то. Такое простое дело, а мимо почему-то.

Мустафа вежливо рассмеялся.

– Да не наваждение, товарищ старший лейтенант, а тренировка.

Старший лейтенант почувствовал, что он начинает заводиться.

– Дай-ка, попробую ещё разок, – сказал он, берясь за рукоять ножа.

– Попыток – не пыток, – коряво, искажённой половицей, отозвался на это Мустафа.

Вытащив нож, Горшков несколько мгновений держал его в руке, словно проверял на тяжесть, либо искал центр, точно разделяющий черенок с лезвием, поморщился озадаченно, ухватился за нож поудобнее и снова послал его в землю. Опять мимо – до прорези не дотянул сантиметра три.

– Ну-ка, попробуй снова ты, – сказал старший лейтенант, протянул нож Мустафе.

Тот понимающе наклонил голову, ловко перехватил нож и без всяких примерок, без прицеливания, отправил его в землю, в след, оставленный последним броском старшего лейтенанта, затем нагнулся, вытащил финку – движения были отлаженными, точными и, не останавливаясь ни на секунду, сильно и ловко кинул нож себе под сапоги. Только комочки влажной земли брызнули в разные стороны.

Лезвие точно вошло в старый разрез, оставшийся после ударов Мустафы.

– Ловко! – удивлённо произнёс старший лейтенант. – Простая вроде бы вещь, а семь потов надо пролить, прежде чем получится что-то путное...

– Больше, товарищ командир, – серьёзным, даже чуточку опечаленным, а может быть, обиженным тоном проговорил Мустафа, – не семь потов, и не семнадцать, и даже не семьдесят... Для этого надо посидеть в лагере.

– Тьфу, тьфу, тьфу! – недовольно дёрнул головой старший лейтенант. – Лучше не надо... Это нам, пардоньте, совсем ни к чему.

– Тьфу, тьфу, тьфу! – повторил Мустафа плевок старшего лейтенанта. – Я имел в виду совсем не это.

– А в дерево со скольких метров попадаешь? – спросил Горшков.

– Ну-у... Если нож с тяжёлым лезвием, утяжелённым ртутью или свинцом, могу даже с двадцати метров попасть.

– А больше?

– Больше – вряд ли.

– Ну-ка, попробуем...

– Не верите? – Мустафа улыбнулся, блеснув чистыми, на удивление молодыми крепкими зубами. – Ваше право. Я бы тоже, наверное, не поверил.

Полуторка старшего лейтенанта стояла под вялой, с обломанными сучьями берёзой. Ствол дерева был сильно посечён осколками. Горшков показал пальцем на берёзу:

– Попробуем?

– Попыток – не пыток, – привычно произнёс в ответ Мустафа.

Старший лейтенант подошёл к берёзе и стал шагами измерять пространство. Отмерив пятнадцать шагов, остановился.

– Ну, Мустафа, сколько метров ещё отмеривать?

– Давайте, товарищ командир, как и договорились, остановимся на двадцати.

– Двадцать так двадцать, – произнёс Горшков согласно, отсчитал ещё пять метров и провёл носком сапога на земле черту. – Есть двадцатка. Вот риска.

Мустафа, ловко подкидывая нож и ловя его на ходу – каждый раз нож оказывался наборной ручкой в ладони, приблизился к риску, встал около неё и несколько мгновений стоял молча, вглядываясь в изувеченный ствол и вслепую подкидывая и ловя нож.

Потом, поймав его в очередной раз, сильно взмахнул рукой.

В воздухе раздался свист. Нож нёсся, как пуля, он почти не был виден, достиг берёзового ствола и всадились в него.

Горшков не выдержал, похлопал в ладони, лицо старшего лейтенанта сделалось весёлым, открытым, будто он что-то выиграл в карты.

– Bravo, Мустафа!

Мустафа, никак не реагируя на восторги старшего лейтенанта, прошёл к берёзе, выдернул из ствола нож.

– Ехать пора, товарищ командир, – произнёс он негромко.

– Счас поедем. Доберёмся до части, там нас ждёт обед.

– Пообедать и тут можно. У меня есть полбуханки хлеба и банка немецкой консервированной колбасы.

– Я тоже не пустой, но первое мы с тобой вряд ли сумеем сгородить. А я хочу первого отведать, супа какого-нибудь. На сухомятке мы с тобой ещё насидимся, когда в разведку пойдём... – Горшков оглянулся на полуторку. В кабине спал, положив голову на руль, водитель. – Да и шофёр – едок не промах, имеет изнеженное брюхо, вряд ли согласится на сухомятку. Ладно, поехали, друг Мустафа...

– Как скажете, товарищ старший лейтенант, так и будет.

Мустафа прыгнул в кузов, Горшков уселся рядом с шофёром, длинноносый унылым парнем с висячим пыльным чубом, закрывавшим с одной стороны глаз едва ли не целиком, шофёр зевнул, откинул чупрынь в сторону и завёл мотор.

Дорога была изрыта воронками, скорость не наберёшь даже самую малую – колёса обязательно унесёт на ближайшее дерево, поэтому шофёр ожесточённо тряс чубом и матерился, объезжая воронки и короткими бросками продвигаясь вперёд.

Неожиданно он нажал на тормоз и остановил машину, чуть не уткнувшись лицом в ветровое стекло. Сморщился болезненно, будто в него угодила пуля.

– Господи, – прошептал он неверяще, – Вовка Макаров... Неужели это ты? – Шофёр всхлипнул зажато, тоненько, словно бы в нём что-то отказало – взяла и оборвалась внутри нужная мышца и жизнь сразу сделалась бессмысленной.

Впереди, между двумя голыми, напрочь очищенными от веток и сучьев деревьями, стоял старенький грузовик и медленно догорал. Задние колёса у грузовика были оторваны, проломленным кузовом автомобиль опустился в свежую, источавшую едкий дым воронку.

– Вовка! – горестно взвыл водитель и выскочил из кабины.

Старший лейтенант выскочил следом.

Собственно, кузова у грузовика уже не было, вместо днища зияла большая дыра. Снаряд, прилетевший издалека, умудрился выбрать себе цель и точно угодил в неё, проломил кузов грузовика и взорвался в земле.

От шофёра после таких попаданий обычно остаётся одна оболочка – кожа с переломанными костями. Да бурые пятна на потолке кабины.

Водитель полуторки обежал раскуроченный грузовик кругом, простонал на ходу:

– Володька... За что же тебе такое наказание?

Кабина светилась от частых дыр, в наполовину сбритой осколками крыше серело недоброе тусклое небо. То, что осталось от неведомого водителя Володьки, было обычной окровавленной кучей тряпья, сверху накрытой помятой пилоткой-маломеркой.

– Мака-аров! – взвыл водитель полуторки громко, затряс головой, сыпя вокруг себя слёзы.

Старший лейтенант обошёл грузовик следом за водителем полуторки, удрученно почесал пальцем затылок: на спасение у шофёра не было ни одного шанса.

– Что же ты, земля, – водитель полуторки вновь обрызгал пространство слезами, – как же ты промахнулся?

– А что он мог сделать? – спросил Горшков. – Отпихнуть от себя снаряд ногой?

Водитель полуторки повыл ещё немного и умолк, начал деловито суетиться, выламывать из разбитых бортов куски дерева, потом остановился и тупо, как-то остервенело поглядел на старшего лейтенанта.

– Надо бы Володьку в часть отвезти, товарищ командир, похоронить там.

– Да от него ничего не осталось. Один воздух с тряпками.

– Что делать, что делать...

– Похоронить здесь, на обочине дороги, рядом с машиной, чего же. Лопата есть?

– Есть.

– Доставай. – Горшков оглянулся на полуторку, призывно махнул рукой: – Слезай, Мустафа, предстоят земляные работы.

Мустафа легко перелетел через борт, при приземлении смачно бултыхнулся разбитыми сапогами. Заглянул в кабину грузовика.

– Не повезло парню.

Водитель полуторки отошёл в сторону, отмерил лопатой прямоугольник могилы.

– Одно хорошо: земля сухая, песка в ней много, – с хакеньем вогнал лезвие под густой травяной куст, с хрустом подрезал корни, – лежать в земле приятно.

Старший лейтенант подивился: какое значение имеет сейчас эта ерунда? Приятно лежать, неприятно... Тьфу! Главное, что Володьки этого уже нет. Нету! И не будет никогда. Горшков почувствовал, что у него сами по себе раздражённо задёрнулись уголки рта. Водитель полуторки выдохся быстро, воткнул лопату в землю и ухватился обеими руками за поясицу.

– Охо-хо-о... Ноет, проклятая, – пожаловался он старшему лейтенанту, лицо его стало плаксивым. – Пуля засела в прошлом году, так её и не вытащили.

Старший лейтенант перехватил лопату, примерился, но копать ему не дал Мустафа.

– Не царское это дело, товарищ командир. Дайте-ка!

Работал Мустафа сноровисто, ловко, только земля отлетала в сторону непрерывно, не прошло и получаса, как могила была вырыта.

Водитель полуторки, увидев это, захныкал вновь, хныканье быстро перешло в хриплый, забитый мокротой вой.

– Воло-одька!

– Мустафа, обыщи разбитый грузовик, может, какое-нибудь полотно найдётся? – не обращая внимания на вой водителя, приказал старший лейтенант. – Неудобно хоронить человека без какой-либо домовины.

Мустафа понимающе кивнул.

– В кабине посмотри, под сидением. Наверняка у шофёра была подстилка... Когда он забирался под грузовик чего-нибудь отремонтировать, то, как пить дать, подстилал что-то под себя...

Под сидением действительно нашлась пропахшая бензином, в пятнах мазута, в нескольких местах проткнутая осколками подстилка. В неё и завернули то, что осталось от неведомого Володьки Макарова.

Водитель полуторки вновь не сумел сдержать себя, заплакал, затряс плечами, потом заревел в голос – у Горшкова даже сдавило горло.

– Тихо ты! – рявкнул он на водителя. Тот подёргал плечами ещё немного и умолк. – Лучше дощечку какую-нибудь найди – на могиле надо надпись оставить.

Размякший, будто разварившийся, враз сделавшийся рыхлым водитель полуторки, слепя шаря пальцами по воздуху, пошёл к своей машине.

Несмотря на размякшесть и то, что он вроде бы ничего не соображал, водитель довольно быстро отыскал чистую, аккуратно, без заусенцев, обрезанную фанерку, притащил её к старшему лейтенанту.

– Вот.

Могила к этой поре уже была закопана, Мустафа деликатно обшлёпывал её лопатой, лепя аккуратный земляной холмик. Горшков расстегнул свою полевую сумку. Там, в отделении для ручек-самописок, у него гнездились два толстых карандаша – трофейные, чёрный и красный.

Старший лейтенант выдернул красный карандаш. Нарисовал наверху на фанерке звёздочку – обозначил, что здесь похоронен военный человек.

– Как, говоришь, фамилия твоего земли была? Макаров?

– Так точно, Макаров, – горестно кивнул водитель полуторки. – Володька.

– А отчество его как?

Лицо водителя сделалось недоумённым.

– Отчества не знаю. Ведь мы же никогда не обращались друг к другу отчеству... Только по именам. Эх, Володька!

– Всё, обрёл твой Володька на этой земле вечную хату. – Горшков косо всадил в землю фанерку, постучал сверху камнем, вгоняя её поглубже, и поднялся на ноги. – Прощай, друг! Поехали!

Водитель полуторки забрался в кабину, положил руки на руль и поморщился плаксиво: пальцы у него плясали на эбонитовом круге – так расстроился...

– Я не смогу вести машину, – сипло выдавил он из себя.

Горшков, уже усевшийся рядом, молча выпрыгнул из кабины, обошёл полуторку.

Водитель послушно уступил ему руль, старший лейтенант тронул полуторку с места, пригнулся, заглядывая под козырёк кабины: что там наверху, в небе, нет ли «мессеров»?

Небо по-прежнему было серым, плотным, ни одного светлого прогала: погода была нелётной. Впрочем, впереди, на дороге поднялся столбик пыли, проворно побежал в сторону... Родился ветер. Если он устоит, если облака и тяжёлое небо не раздавят его, то ветер может справиться с этой обморочной затишьёю и разгонит наволочь. Вот тогда и жди стервятников с крестами, которые начнут поливать дороги свинцом и бросать бомбы.

А пока их можно не бояться.

Разведчики занимали в одном из приусадебных участков просторную клуню, набитую прошлогодним сеном, которое пахло очень и очень вкусно: хозяйская корова с тёлкой были убиты взрывом, их пустили на мясо, а запас сена остался – не выкидывать же его, разведчики понаделали в нём нор, каждый себе индивидуальную, побросали туда вещевые мешки, патроны и прочие нужные манатки – в сене и спать было хорошо, особенно завернувшись в плащ-палатку, и у каждого место своё собственное было.

Горшков поставил полуторку под деревом недалеко от штаба артиллерийского полка, будто любимую корова, чтобы дождик сверху не накапал, хлопнул водителя по плечу и двинулся по широкой ровной улице села, будто по городскому проспекту, к клуне, где его ждали разведчики. Надеялись, что прибудет с пополнением, на деле же вышло, что он прибыл лишь с намёком на пополнение.

Разведчиков у него оставалось немного, с гулькин нос, остальные выбыли: четверо валяются в госпитале, одного даже в Москву отвезли на операцию – немецкая пуля раздробила у него один из позвонков, трое убиты, в клуне же живут – вместе с Горшковым – пять человек. Пять дееспособных солдат, которые и проволоку зубами умеют перекусывать, и суп из топора варить, и поезда под откос пускать подручными средствами без всякого тола и динамита, и

лечить без лекарств, и стрелять без патронов – одним словом, настоящие разведчики. Других людей начальник разведки Горшков не признавал и старался брать к себе только тех, которые ему подходили.

Поскольку клуны стояла в отдалении от старого, с потрескавшейся на крыше дранкой хозяйского дома, то имела свою изгородь, излаженную из кольев, а в изгороди – калитку. Едва старший лейтенант взялся рукой за калитку, как дверца клуны беззвучно распахнулась – именно беззвучно, хотя обычно скрипела так, что было охота выплюнуть собственные зубы, – и показался Коновалов, полнеющий солдат, совсем не похожий на разведчика, с ускользящим взглядом и сбитой набок пряжкой ремня... Это называется – почувствовал товарища командира.

Нюх у Арсюхи Коновалова был такой, что любая собака могла ему позавидовать, за редкостное чутьё Горшков прощал Коновалову и сбитый набок ремень, и всегдашнее желание выловить в общем котле кусок мяса побольше, и природную лень... Но главный талант заключался в том, что Арсюха умел перемещаться по пространству без единого звука, даже по битому стеклу мог ходить бесшумно. В разведке такое умение ценилось высоко.

– Ба! – развёл Арсюха руки в стороны. – Командир вернулся.

– Вернулся, – подтвердил старший лейтенант, – и не один. – Он пропустил вперёд Мустафу. – Знакомься, Коновалов, это Мустафа.

Коновалову одного взгляда было достаточно, чтобы понять, кто такой Мустафа, где крестился и крестился ли вообще, в каких местах провёл одну половину жизни, а в каких другую, и так далее. Он склонил голову и произнёс с едва приметной усмешкой:

– Будь здоров, Мустафа!

– И ты будь, не кашляй в холодные дни, – в тон Арсюхе отозвался Мустафа, также едва приметно усмехнулся.

Было ясно без всяких слов: эти двое, несмотря на натянутость, возникшую при знакомстве, уже прикинули кое-что и как пить дать сработаются, в любом поиске будут действовать, словно единое целое.

– Меня зовут Арсением, – проговорил через несколько мгновений Коновалов, – можно просто Арсюхой – не обижусь.

– А меня – Мустафой Ильгизовичем. Тоже, если назовёшь целиком, – не обижусь.

Арсюха раскатисто, колыхаясь всем телом и роняя на грудь подбородок, рассмеялся. Мустафа – тоже. Они поняли друг друга до конца и оба теперь знали, – уже окончательно, без всяких поправок, – как будут действовать в той или иной ситуации – в наступлении, в отступлении, в голодухе или в жирной объедаловке, знали, кто кому и в какой момент протянет руку, а в какой, напротив, отвернёт голову в сторону.

Не оборачиваясь, Арсюха гулко стукнул кулаком по полуоткрытой двери клуны:

– Мужики, вылезайте – командир новенького привёл.

Внутри клуны что-то зашуршало, словно бы зверь какой переполз по сему с одного места на другое, потом шорох стих, и Мустафа уже подумал, что никто из клуны не вылезет, – отдыхают люди, – но это было не так: дверь отодвинулась ещё на немного и в проёме возникли сразу двое, один человек прикрывал другого, – широкоплечий, чуть сутуловатый, сколоченный по-медвежьи, очень прочный мужик с пытливыми маленькими глазками и короткими прядями волос, опущенными беспорядочно на лоб, за медведем этим – явно сибирского разлива, – стоял худой высокий парень в круглых старомодных очках, к дужкам которых была привязана резинка, вытасенная из чьих-то трусов, в новенькой необмятой гимнастёрке, на которой висела медаль «За отвагу» на прямоугольной, довоенного образца колодке, обтянутой муаровой лентой брусничного цвета.

– Старшина группы разведки Охворостов, – представил медведя Горшков, и тот в коротком ленивом движении приподнял одну руку. – Поскольку товарищ Охворостов – человек в

полку очень уважаемый и все к нему относятся с большим почтением, то обращаемся мы к нему только по имени-отчеству... Егор Сергеевич, и только так. С ним – самый знающий человек в артиллерийском полку, наш переводчик Игорь Довгялло, прошу любить и жаловать, – представил старший лейтенант второго разведчика, и тот так же лениво и коротко приподнял одну руку. Старший лейтенант огляделся. – А где Соломин, что-то не вижу... Куда подевался?

– В деревню ушёл, харч получать, – готовно пояснил Арсюха.

– Харч – дело серьёзное, – сказал старший лейтенант Мустафе, будто тот сам не знал этого, – если вовремя не ухватишь котелок с кулешом за горячую дужку, голодным останешься. – Горшков огляделся вновь, хлопнул ладонью по боку. – Кота не вижу.

– Здесь он, – по-ребячьи шмыгнув носом, доложил Арсюха, – мышь углядел, поймать хочет. – Позвал громко: – Пердунок! Каша на подходе! Не зевни, не то без обеда останешься!

Сено зашуршало громко, наверху отделился пласт и сполз вниз, в следующее мгновение из-под сапог старшины вылез крупный лобастый кот с редкостными зелёными глазами, похожими на изумруды. Состоял он их трёх больших пятен, будто бы сшитых друг с другом: рыжего пятна, чёрного пятна и неровного, словно бы с обкусанными краями, белого – впрочем, белым это пятно можно было назвать с натяжкой, скорее, это было тёмно-серое пятно извозюканное, с прилипшими остями сена. Мыться кот не любил, если его тащили к воде, орал так, что крики его были слышны даже на немецкой стороне и оттуда немедленно открывали артиллерийский огонь, поэтому разведчики решили вымыть кота, только когда он превратится из трёхцветного в одноцветного, но миг этот почему-то не наступал: то ли кот втихаря совершал где-то самостоятельные помывки (утреннее облизывание самого себя не в счёт), то ли волос его, бывший когда-то белым, высветлялся сам по себе.

– Вот он, явился, не запылится, – объявил старший лейтенант. – Пердунок собственной персоной. Знакомься, Мустафа!

– А почему вы его прозвали Пердунком? – спросил Мустафа.

– Это тебе Арсюха объяснит. Он над котом командир. – Старший лейтенант поправил на голове пилотку. – Пойду доложусь, что прибыл. Заодно и Соломина подгоню. – Горшков лихо, будто спортсмен на областных соревнованиях, перемахнул через калитку и исчез.

– Ну что, Мустафа, – старшина неторопливо поскрёб ногтем темя, – с прибытием тебя в прославленную боевую часть.

– Спасибо, – сдержанно отозвался Мустафа.

– У нас, у разведчиков, положено прописываться...

– За этим дело не застрянет. – Мустафа сбросил с плеча «сидор» и, раздёрнув горловину, встряхнул мешок. Внутри громыхнули консервные банки. Среди банок, горлышком вверх на манер зенитки, приготовившейся пальнуть по вражескому летательному аппарату, красовалась литровая бутылка. Горлышко бутылки было заткнуто туго скатанным в рулон куском газеты.

Жидкость, плескавшаяся в бутылке, имела мутноватый, схожий с берёзовым соком цвет.

– Что это? – подозрительно сощурившись, спросил старшина.

– Спирт, Егор Сергеевич, чистый спирт, – без улыбки ответил Мустафа, знал, что этот вопрос последует обязательно, – разведённый до сорокаградусной крепости, как водка, и заправленный хреном.

– А хрен-то зачем? Чтоб до печёнок пронимало?

– Нет. Напиток сразу делается вкусным – это раз, и два – никто не догадается, что пьёт спирт.

– Дивны дела твои, Аллах мусульманский, – качнул головой старшина. – А говорят, мусульманам пить разведённый спирт запрещает Коран... А? – Не дождавшись ответа, старшина махнул рукой. – По части консервов мы, честно говоря, тоже не бедны – есть кое-что, а вот по части спирта с хреном... – Он покачал головой, почмокал губами и скомандовал: – Наливай!

Мустафа растянул губы в улыбке:

– Ну и скорость!

– Да шучу я, шучу! Торопиться не будем. Надо дождаться командира – раз, и два – Соломина с обедом. Консервированная тушёнка – это хорошо, а горячий кулеш – много лучше.

– А почему вы kota так необычно назвали, – вновь поинтересовался Мустафа, – Пердунком?

Лицо старшины украсила широкая, во все тридцать два зуба улыбка.

– Пообтираешься рядом с ним пару дней – всё поймёшь сам, – сказал он.

– И всё-таки? – Мустафа был настойчив.

– Кот у нас появился неожиданно, возник на ровном месте, словно из-под земли вытаял... Было это в одной разрушенной деревне. Походил по батареям полка, посетил хозяйственников, которые всегда сыты и у них вкусно пахнет, заглянул в штаб, но нигде не задержался – пришёл к нам. Мы его накормили, кот обнюхал каждого и остался...

– А Пердунком как он заделался? Имя такое – м-м-м... – Мустафа выразительно помотал рукой в воздухе.

– Редкое имя. Во всём Советском Союзе нет kota с такой кличкой. Сидим мы как-то с котом, я его расчёсываю, репы из хвоста выбираю, в это время командир появляется, товарищ старший лейтенант Горшков. Я вскочил, вытянулся, доложил по всей форме, что в подразделении у нас появился, мол, новый боец – кот... Командир тоже присел, тоже начал репы выбирать – надо же с новым бойцом познакомиться. В это время кот напряжился и... испортил воздух. Струю газа пустил такую, что у нас ноздри вывернулись наизнанку, их нужно было вворачивать обратно – вонь была хуже, чем от вражеского танка, заправленного прокисшей простоквашей. Командир глянул на меня подозрительно, я на него – на kota в тот момент мы грешить совсем не думали. А потом поняли – кот это, вот и прозвали его Пердунком.

Мустафа даже не услышал, как сзади к нему подошёл невысокий, в белёсой от частых стинок гимнастёрке сержант, – обладающий обострённым чувством пространства Мустафа ничего не засёк, а ведь сержант и дверцу изгороди открывал, и по земле шёл... Но нет, ничего этого не ощутил Мустафа и удивился несказанно... Как же это он проворонил сержанта?

Неосязаемым человеком этим был, как понял Мустафа, сержант Соломин, который ходил на кухню за обедом для разведчиков.

Пердунок поспешно подскочил к сержанту, потёрся пыльной шкурой о его сапог. «Хорошая примета, – подумал Мустафа, – раз кот трётся об обувку. Значит – добыча будет». В правой руке сержант держал ведро – закопченное, чёрное, с большой вмятиной в боку. Ведро было накрыто куском фанеры.

– Пердунок, – проговорил сержант ласково, кот от его голоса замурлыкал громко. Мустафа понял, что из всей компании разведчиков кот брал в хозяева одного – сержанта Соломина, все остальные, в том числе и Горшков, и старшина, были для него людьми второстепенными.

– Познакомься, Коля, – сказал старшина Соломину, – у нас новенький, Мустафой зовут.

Мустафа развернулся лицом к сержанту, одного короткого взгляда ему было достаточно, чтобы запомнить лик Коли Соломина: загорелое до коричневы лицо (будто сержант специально поджаривался на керосинке, каждый день это делал, без пропусков), синие резкие глаза, впалые щёки и тяжёлый подбородок с раздвоиной, – лицо волевого, уверенного в себе человека. Весомым дополнением к положительному облику этого человека был рубиновый орден, прикреплённый к застиранной гимнастёрке сержанта – Красной Звезды.

– Привет, Мустафа, – сержант оказался в общении простым человеком, протянул руку, – ты как раз к обеду поспел.

– Настоящий разведчик, – похвалил Мустафу старшина, – знает, когда надо появляться.

– Правильно, – подхватил Соломин, – настоящие разведчики никогда к обеду не опаздывают. Если же опаздывают, то это не разведчики. Даже не пехотинцы и тем более не артиллеристы.

На землю, у боковины клуни, кинули плащ-палатку, расправили её – получилась скатерть-самобранка. Мустафа вытащил из «сидора» две банки тушёнки, полбуханки хлеба и бутылку, заткнутую газетной пробкой, аккуратно расставил продукты на плащ-палатке.

Видя такое дело, из-за облаков выглянуло любопытное солнце – интересно сделалось, чего там задумали беспокойные люди, откуда у них взялась бутылка?

Про кулеш, который притащил в ведре сержант, светило знало все, и про консервные банки тоже знало все, а вот насчёт бутылки не ведало ничего, и что там плескалось, тоже не ведало, раздёрнуло плотные серые облака пошире, забралось в прореху целиком, будто в таз для мытья.

Хорошо сделалось, когда земля осветилась тёплыми лучами, даже кот запрыгал, затопал по краю плащ-палатки, и у него на душе стало светло, за край Пердунок не забирался, знал, что за это можно получить по дырявой заднице, прореха тем временем раздвинулась ещё больше, сделалось не только светло, но и тепло.

Вот что значит лето. Холод в эту пору вообще не держится, отваливает в сторону, освобождает место теплу, если где-то он и зависает, то ненадолго.

В центр плащ-палатки Соломин поставил ведро с кулешом.

– А сил у нас, Коля, хватит, чтобы столько съесть? – старшина сделал неуверенный жест пальцем в сторону ведра. – А?

– Нам помогут, – туманно отозвался на замечание Соломин.

– Кто?

– Увидишь. Ровно через десять минут.

– Загадками что-то говоришь, Коля.

– Весь в тебя, Сергеич, – коротко хохотнул Соломин, – ты же мой лучший педагог, у тебя всему и научился.

– Ладно, ладно! – старшина сделал взмах рукой, осаждая красноречивого сержанта. – Разберёмся во всём и дадим соответствующую оценку.

Соломин снова хохотнул – характер он имел весёлый:

– Что-то ты заговорил, как политрук с первой батареи.

Старшина махнул рукой ещё раз, давая понять, что продолжать беседу на «общеполитические» темы не намерен – хватит, мол.

Хватит, так хватит. Соломин подчинился старшему по званию.

Солнце, любопытное, ласковое, заполнив один раз прореху, больше не пряталось, так и сидело в этой прорехе, наблюдало за людьми: интересно что же произойдёт дальше; кот задирает голову, косил зелёными глазами на светило, подставлял под лучи то один бок, то другой – пробовал выкурить из лохматой шкуры блох, да все попытки его были неудачными – блохи, конечно, тоже любили тепло, но вылезать из шкуры не собирались... Пердунок же, надо отдать ему должное, сдаваться не желал, переворачивался на спину и катался по земле, как баран, давя вредных насекомых...

В общем, жизнь вся, – что у людей, что у животных, – проходила в борьбе.

Ровно через десять минут, – с точностью хороших часов, – за изгородью клуни послышался звонкий серебряный смех, старшина, успевший скрыться в клуне, пулей вылетел обратно, распустил своё подбористое жёсткое лицо, маленькие глазки у него засияли лучисто: это ж такая диковинка на фронте – девчата... Они только при крупных штабах и водятся – связистки.

Метнувшись к дверце изгороди, старшина широко распахнул её:

– Милости просим, дорогие сударыни!

– Ждёте нас, мальчики? – звонким серебристым голосом поинтересовалась старшая из них, полногрудая синеглазая девушка с тремя командирскими звёздочками в петлицах – сержант, командир отделения, скорее всего.

У старшины от этого нежного голоса даже горло перехватило, дышать нечем сделалось, он откашлялся и медовым тоном пропел в ответ:

– Ждём, ждём, давно ждём! Квас наш, – он ткнул пальцем в сторону бутылки, расположившейся на плащ-палатке, будто королева, – квас наш уже чуть не вскипел на открытом солнце. – Согнув руку крендельком, старшина сунул ладонь сержантихе: – Георгий!

– Ася!

Старшина галантно склонился над рукой связистки.

– Может, вам удобнее, чтобы вас по отчеству величали?

– Да вы чего, старшина! Какие наши годы...

– Правильно, какие наши годы, – промурлыкал старшина и протянул руку следующей девушке: – Георгий! Иногда меня зовут Егором.

– Инна!

У Инны были серьёзные глаза, и вообще она относилась к категории девушек, которые никогда себе не позволят чего-нибудь несерьёзного.

– Инна Безбородько, – добавила девушка и ловко, будто невесомый корабль, обогнув старшину, вошла во двор клуни.

Старшине показалось, что Инна вообще не обратила на него никакого внимания, и он немедленно запал на неё, даже уголки рта у Егора Сергеевича болезненно задёрнулись. Так уж у мужиков заведено: западать на женщин, которые смотрят на них свысока и кажутся недоступными, при этом страдать от внутренней боли и думать о собственной никчемности.

– Катя, – представилась следующая девушка, засмеялась радостно и беспричинно: Катя относилась к категории людей, у которых во рту спрятана смешинка – покажи им палец и они будут смеяться; за Катей во дворе клуни очутилась ещё одна девушка, пожалуй, самая красивая из всех связисток, со злым персиковым лицом и ровными чистыми зубами, будто с открытки, приглашающей граждан отдохнуть в Крыму и обязательно посетить Ласточкино гнездо – редкостный дом, прилепившийся к краю скалы, и чеховский Гурзуф, побродить по местным каменным тропам и полюбоваться с высоты морем таким синим, что кажется – из глаз вот-вот польются слёзы от нереальной режущей синевы...

Таковыми же синими показались бравому старшине глаза у последней связистки, но когда она повернула к нему своё лицо, он вдруг увидел, что глаза у неё не синие, а ореховые, тёмные, с весёлыми желтоватыми крапинами. Наваждение какое-то. А вообще девушка царственная. И походка у неё царственная.

Старшина ощущал, как у него тоскливо сжалось сердце – даже воздух перед взором померк. Будь его воля, он ухлестнул бы за всеми четырьмя девушками сразу либо поочередно, но воли на то не было, ни своей, ни чужой.

– Жанна, – назвалась последняя связистка. Голос у неё был сочным, глубоким – девушки с таким голосом умеют проникновенно исполнять русские народные песни.

– Что мы пьём, мальчики, докладывайте! – хлопнула в ладони сержант Ася. – Шампанское из подвалов местного райпищеторга?

– Шампанское – это несерьёзно, Асенька, – промурлыкал старшина, – берите выше! Наш напиток получил золотую медаль на выставке пузырчатых коктейлей во французском городе Пляс-Пигаль.

– О-о-го! – Ася даже глазом не моргнула, слушая белиберду, которую нёс старшина. – Что за напиток?

– Попробуйте – узнаете.

Дверь клуни раздвинулась, в разъёме возник Игорь Довгялло, подтянутый, в новых сапогах – пока девушки представлялись Охворостову как «старшему военному начальнику», он успел скинуть с себя разношенные вытертые кирзачи и натянул на ноги роскошные офицерские сапоги. Сапоги произвели впечатление – девушки невольно переглянулись.

– Наш главный толмач, – представил Игоря старшина, – знаток наречий всех немецких провинций. Ни один фриц не смеет пройти мимо него. Слушать, как Игорь допрашивает их, – одно удовольствие.

Отпихнув переводчика в сторону, из клуни вынырнул Арсюха, также прибранный, торжественный, и вот ведь как – украшенный медалью. Все разведчики успели принарядиться в клуне, кроме Мустафы, у которого места своего ещё не было.

Награды в ту пору были редкостью, давали, их мало и неохотно. «Эван! – запоздало удивился Мустафа. – Воюют здесь не только за кулеш из полковой. Награды тоже иногда дают».

– Ой, мальчики, сколько у вас орденосцев! – Ася мечтательно вздохнула: – Чего же это мы вас раньше не знали? Недоработка.

– Это наша недоработка, Асенька, не ваша, – заметил старшина, – наша вина в том, что мы не знали, что у нас в полку водятся такие замечательные девчата!

Арсюха тем временем переломил один из позвонков в своей несгибающейся шее, с хрустом наклонил голову и, стукнувшись подбородком о тяжёлую твёрдую грудь, проговорил сдавленным, обесцветившимся от напряжения голосом:

– Арсений Васильевич Коновалов!

Мустафа не замедлил отметить: «Не кавалер! Чурка какая-то! Себя по имени-отчеству величает. Девушки таких не любят». Старшина той порой приметливым глазом отстрелил Пердунка – где тот находится? Кот сидел в клуне и из глубокой притеми внимательно наблюдал за происходящим, это старшину устраивало, и он удовлетворённо потёр руки:

– Ну что, девчата, за стол?

– А командир где ваш? – поинтересовалась Ася. – Командира что, ждать не будем?

– Командир в штабе. Может вернуться рано, а может и очень поздно, никто этого не знает. – Старшина окинул Асю ласкающим взглядом, глаза у него заблестели, он вздохнул сладко, повернулся к клуне и погрозил коту пальцем: сиди там и носа на улицу не высывай.

Кот всё понял и, как показалось Мустафе, послушно наклонил голову.

– Что за напиток, мальчики, откройте секрет. – Ася опустила на плащ-палатку рядом с бутылкой.

– У нас собственный винодел есть, – туманно отозвался старшина.

– Кто он?

– А вот, – старшина указал на Мустафу, улыбнулся зубасто, словно бы хотел о чём-то предупредить башкира.

Мустафа отвел глаза в сторону: разные шуры-муры на фронте он не признавал, даже если эти шуры-муры исходили от разведчиков – людей очень уважаемых...

– А винодел у вас, похоже, немой, – заметила Ася.

– Он не немой, он – застенчивый.

– Как зовут вашего застенчивого?

– Мустафа.

– Что ж, попробуем огненное шампанское вашего Мустафы.

Старшина опустил на колени рядом с Асей, ловко ухватил бутылку пальцами, налил мутноватой светлой жидкости в стакан. Ася приподняла стакан, навела его на свет.

– На шампанское это не похоже.

– Зато вкус, Асенька, м-м-м, – старшина сладко почмокал губами, – попробуйте!

Ася попробовала, также почмокала губами, похвалила:

– Полуторки можно заправлять вместо бензина – быстро бегать будут. – Предупредила подопечных: – Аккуратнее, девочки, обжечься можно.

– Вы из каких краев родом будете, товарищ сержант? – спросил у Аси Охворостов.

– А что, не нравлюсь?

– Наоборот, очень нравитесь.

По лицу Аси проползла прозрачная тень, глаза потемнели.

– Из-под Витебска я, родилась в райцентре...

Старшина обрадованно вскинул руки.

– Боже мой, землячка! Землячка! Родненькая моя! – старшина полез к Асе целоваться.

Ася решительно выставила перед собой две маленькие крепкие ладошки, останавливая старшину.

– Я ведь тоже родился под Витебском и тоже в райцентре. – Охворостов поспешно налил крепкого напитка себе. – Это дело надо отметить. Вы из кого района, Асенька?

– Из Ушачского.

– А я из Браславского. Господи, да это же совсем рядом! Озёрами из одного района можно проехать в другой на лодке. Как тесен мир, как он всё-таки тесен! – Старшина чокнулся с Асей, пригласил: – Девчата, дорогие, садитесь за стол. Мужики, тоже садитесь, чего вы ведёте себя, как чужие?

Странно, а Мустафа посчитал, что такой прочный мужик, как старшина Охворостов, обязательно должен происходить из Сибири.

На фронте редко выпадают такие минуты – и думать ни о чем не надо, и врага опасаться не надо, он далеко, а вот рядом... рядом находятся такие родные существа, такие желанные, что просто дух захватывает. Старшина залпом выпил «шампанского» и у него стиснуло горло, глотку словно бы обжали чьи-то крепкие пальцы – зелье хоть и вкусное, но пить его надо понемногу, мелкими глотками, как коньяк...

Мустафа скромно пристроился на уголке плащ-палатки и в разговоре участия не принимал – слушал. Охворостов пару раз остановил на нем взгляд, подморгнул ободряюще – держи, мол, хвост пистолетом, но Мустафа не дворняжка, чтобы хвост держать пистолетом, в ответ он лишь вежливо улыбнулся...

Командир в штабе не задержался, вернулся скоро, возник над изгородкой и, не открывая дверцы, поинтересовался насмешливо:

– По какому поводу пир? В честь годовщины Парижской Коммуны или по поводу расформирования команды городошников города Бердичева?

Старшина поспешно вскочил с плащ-палатки.

– Извините, товарищ командир, что без вас начали... Мустафу в коллектив принимаем. Садитесь с нами!

Горшков, не замечая приглашения старшины, лихо откозырял девушкам:

– Старший лейтенант Горшков!

Ася сощурилась насмешливо:

– А имя у вас есть, товарищ старший лейтенант?

– Естественно. Иван Иванович.

– А просто по имени можно? – Ася потянулась томно, у неё даже кости захрустели. Связистки дружно засмеялись. – Очень хочется звать вас просто по имени: Ваня.

– А почему бы и нет, – Горшков покраснел малость, но смущению не поддавался, – Иван – хорошее русское имя.

– А просто Ваней – можно?

– Можно. – Старший лейтенант перемахнул через калитку, не открывая дверцы, и через мгновение уже сидел на плащ-палатке.

– Вам, товарищ командир, штрафной положен, – Охворостов наполнил стакан «шампанским», много налил, – придвинул к старшему лейтенанту. – Пра-ашу!

– Это чересчур, – сказал старший лейтенант, – перебор, как в игре в очко, – но Охворостов отрицательно мотнул головой:

– Вы же командир, товарищ старший лейтенант, на вас же народ равняется, смотрит...

Горшков залпом осушил стакан, почувствовал, как в горле у него возникло что-то твёрдое, будто туда загнали камень, выбил из себя воздух, заодно вытолкнул и «камень», покосился на Мустафу:

– Твоё, значит, производство? – как будто не знал, чьё это «шампанское» – напиток подействовал на командира. Горшков прижал к носу обшлаг рукава.

– Моё, – ответил Мустафа.

– После первой, товарищ старший лейтенант, надо сразу пить вторую. Не останавливаясь. Чтобы не посинели кончики пальцев...

– Не части, пожалуйста, старшина.

Тем не менее Охворостов вновь наполнил стакан командира, как будто боялся, что тому не достанется. Старший лейтенант всё понял, чокнулся с каждым, кто сидел на плащ-палатке.

– Первый тост положено произносить за встречу, но старшина сорвал мне его своим штрафным, поэтому выпьем, за что ещё не пили – за встречу!

– За встречу! – первой готовно отозвалась на тост сержант Ася, голос у неё был таким, что старшина невольно свёл брови вместе – ещё немного, и он приревнует Асю к командиру. Горшков засёк это, улыбнулся.

Интрига начала закручиваться, как в театре, но закрутиться до конца не удалось. Подле изгороди возник молоденький конопатый посыльный с красневшим от бега лицом, приложил ко рту согнутую ковшиком ладонь:

– Товарищ старший лейтенант, срочно в штаб!

Горшков досадливо покрутил головой:

– Вот так всегда. Поесть не дадут... Ведь я там только что был. – Повысил голос: – Кто вызывает?

– Майор Семеновский! – Майор Семеновский был начальником штаба полка.

– Час от часу не легче. – Горшков поднялся с плащ-палатки.

Семеновский не любил, когда к нему опаздывали на вызов, глаза у майора становились такими, будто он заглядывал в винтовочное дуло.

– Простите меня, – сказал старший лейтенант связисткам, поймал сожалеющий взгляд Аси, следом – Жанны, посетовал, что не может остаться, и ушёл.

– Мы вас подождём, – запоздало, уже в спину, выкрикнул Охворостов, но старший лейтенант отсекающе махнул рукой:

– Продолжайте без меня! Мустафу только не обижайте!

«Его обидишь, он сам кого угодно обидит», – подумал о себе в третьем лице Мустафа.

Майор Семеновский фигуру имел, скажем так, полноватую, если не более, отросший живот уже не мог сдерживать прочный командирский ремень, но, несмотря на оплывшую статью, был подвижен, редко сидел на месте, – а вот лицо в противовес фигуре было худым, с всосанными внутрь щеками и остро выпирающими скулами – это было лицо худого человека. Или очень голодного. Впрочем, глаза у майора всегда поблескивали сыто – голодным он не был.

Начштаба умел и любил материться. А с другой стороны, какая война способна обходиться без мата? Без мата нет войн. Просто не бывает.

– Чего так долго идёшь? – неприязненно сузив глаза, спросил Семеновский у старшего лейтенанта. – Совсем разведчики ожирели, скоро даже мух разучатся ловить.

Горшков в виноватом движении приподнял одно плечо:

– Извините, товарищ майор!

– На первый раз извиняю, а дальше... – тут майор выдал такую четырёхэтажную тираду, что произвести её на бумаге совершенно невозможно, никакая бумага не выдержит. Выматерившись, Семеновский малость подобрел, потёр пальцами глаза.

– Скоро выступаем на позиции, Горшков, – сказал он. – Нужны свежие сведения, что за силы скоплены у немцев на нашем участке? Пехота – полк, который будет стоять перед нами, этим тоже займётся... Всё понял, Горшков?

– Так точно!

– Сведения сведениями, Горшков, но лучше будет, если возьмёте «языка». Задача ясна?

– Так точно! Но до фронта, товарищ майор, двадцать километров...

– Это не твоя забота, Горшков! Я лично, если понадобится, доставлю тебя на место, сам сяду за руль машины...

– Всё понятно, товарищ майор. Разрешите идти? – Горшков выпрямился так резко, что услышал, как в хребте у него громко хрустнул один из позвонков.

Майор это тоже услышал, усмехнулся недобро:

– Иди! И не забудь – мы должны утереть нос пехоте.

Слова эти донеслись до Горшкова, когда он уже находился за дверью.

Небо опять затянулось плотным, словно бы спрессованным неведомой силой, маревом, день потемнел. Горшков подумал, что может собраться дождь – где-то далеко вроде бы даже громыхнуло, но потом понял, что не гром вовсе, а рывканье гаубицы, подтянутой к линии фронта и открывшей тревожащий огонь. Через полминуты гаубица рывкнула снова.

В общем, если дождь и затеется, то не раньше темноты. Старший лейтенант глянул на часы. Майор велел собираться... А чего, собственно, собираться разведчику? Он всегда собран – остаётся только сдать ордена, документы да письма, присланные из дома, которые всякий солдат хранит так тщательно, как и ордена – письма эти греют душу и помогают выживать.

Можно было, конечно, вернуться в клуню, к девушкам, столь желанным, к разведчикам своим, но возвращаться не хотелось.

Горшков завернул в дом, где на постое находился Юра Артюхов, старый приятель, также прибывший в полк из Сибири, только не из Кемеровской области, а из Сибири более глубокой, из города Минусинска; в полку Артюхов находился на должности, которой не позавидуешь, место это хуже раскалённой сковородки, – был корректировщиком огня.

Все промахи в стрельбе пушек приписывают корректировщикам, все попадания – наводчикам... Несправедливо. Но Артюхов на судьбу не жаловался, смерти не страшился, поскольку считал – судьбу не обманешь, и спокойно лез под пули, под обстрелы, если слышал за спиной взрыв, не оглядываясь, понимал: это не по его душу.

В хату Горшков зашёл без стука. Артюхов лежал на продавленном детском диванчике, совершенно облезлом, с одним валиком, который он использовал вместо подушки – другой мебели у хозяев для постояльца не было, – и читал дивизионную многотиражку.

– О, Иван Иванович собственной персоной, – обрадовано воскликнул он, спуская ноги на пол. Старший лейтенант Артюхов звал своего приятеля по имени-отчеству, Горшков Артюхова – уменьшительно, только по имени: «Юра», иногда даже «Юрочкой» и это уменьшение подходило как нельзя кстати к облику минусинца.

– Что слышно в высших эшелонах штабной власти? – спросил Горшков.

– Говорят, грядёт большое наступление.

Горшков удовлетворённо потёр руки.

– Правильно говорят. Хватит отсиживаться по сараям, клуням, амбарам, вдавливать диванчики, пора наступать. А ещё чего, Юр, есть нового из штабных секретов?

– Говорят, от нас забирают Семеновского.

– Конечно, на повышение?

– А ты мыслишь себе ситуацию, чтобы Семеновский пошёл на понижение? Нет. И я нет. Говорят, волосатая лапа у него есть даже в штабе фронта.

– Немудрено. – Горшков пригнулся, глянул в низкое окошко избы – по улице широкой шеренгой шли связистки, сопровождаемые разведчиками, – трапеза с «шампанским» с кулешом без командира не затянулась, да и у бутылки было дно...

– Твой? – Артюхов также глянул в оконце.

– Мои.

– Чай будешь? Трофейный, немецкий.

– Не хочется. Чай – не водка, много не выпьешь.

– Вид у тебя что-то уж больно озабоченный...

– Семеновский только что озаботил. Ночью надо на ту сторону сходить.

– Да для тебя же это, Иван Иванович, всё равно, что два пальца об асфальт...

– Ординарца я себе взял нового, из бывших штрафников, с пополнением прибыл...

Думаю только вот – сводить его ночью на ту сторону или подождать?

– Своди. Чем быстрее проверишь в деле – тем лучше будет.

– А не рано ли? Ещё не обтёрся мужик.

– Своди, своди... Зато потом меньше головной боли будет.

– Тоже верно...

К линии фронта, обозначенной в ночной темноте вспышками ракет да частой беспокоящей стрельбой – и чего люди мешают друг дружке спать? – подбросил всё тот же хнычущий шофёр на своей полуторке.

Ехал он медленно, включать фары опасался: а вдруг враг засечёт и в машину кинет снаряд? – не доезжая полутора километров до фронта, остановил машину и ехать дальше отказался.

– Не могу, – категорично заявил он, – мне велено отсюда вернуться.

– Дурак ты, – спокойно и презрительно проговорил старшина, перегнувшись через борт и заглядывая из кузова в кабину. – С разведчиками никто не решается ссориться, даже командир полка.

– Нет, нет, – затрясся шофёр, – ехать дальше я наотрез... Запрещено, слишком много техники мы потеряли. Обращайтесь к командиру автороты, пусть он приказ даст.

– Выходим, – командовал Горшков разведчикам, с хряском распахнул дверь кабины, прыгнул наружу. – А ты... – Он повернулся к шофёру, хотел выматериться, но сдержал себя и, перепрыгнув с раскатанной, в следах танковых гусей дороги на обочину, зашагал в сторону ракетного зарева. – За мной!

Старшина поднёс к носу шофёра кулак.

– Если впредь увидишь разведчиков – беги, как заяц от охотника. Иначе рожа на задницу будет смотреть... Всю оставшуюся жизнь.

Линию фронта пересекли без приключений – ни единой былки не потревожили, ни звука не издали, в поиск пошли все, кто по штату числился в разведгруппе: Горшков, старшина, Арсюха Коновалов, Довгялло, Мустафа и сержант Соломин. На Мустафу вначале обеспокоено поглядывал старшина, потом перестал. Мустафа был такой же, как и старшина, умелец: и подшивать сапоги без дратвы мог, и воду чистую, холодную, выжимать из горячего песка, и кулеш бараний мог сварить без баранины, и паять без олова, и реки глубокие, широкие одолевать без всяких плавсредств.

В конце концов старшина прикинул кое-что про себя и одобрительно хлопнул Мустафу по плечу:

– Так держать!

Мустафа промолчал.

В тылу, в двух километрах от немецких окопов пересекли дорогу, по которой часто ходили машины, скатились в неглубокий, поросший кустарником ложок. Горшков достал из сумки карту, карманный фонарик – немецкий «диамант» с тонким лучом, присел на корточки:

– Старшина, накрой!

Охворостов накинул на него плащ-палатку, примял ладонями длинные полы:

– Готово!

Старший лейтенант включил фонарик, осветил карту. Дорога, по которой бегали грузовые немецкие машины, вела к бывшему военному городку. До городка было километров восемь, скорее всего, там располагался штаб какой-нибудь части, может быть, даже крупной – дивизии, например. Это надо было проверить.

С другой стороны, тащить «языка» из городка далеко – «языка» нужно брать у линии фронта, хотя это было сделать сложнее, чем в тылу, около городка. Горшков решил брать «языка» и там, и этак, а как всё сложится дальше – видно будет. Он выключил фонарик, сбросил с себя плащ-палатку.

– Идём дальше в тыл, к военному городку.

Идти ночью по лесу – штука трудная, переломать себе ноги можно в два счёта, как в два счёта можно и сбиться, отклониться в сторону, поэтому двинулись параллельно просёлку, удаляться от него более чем на полкилометра было нельзя... Первым шёл Горшков, замыкающим – старшина.

Мустафа шагал в середине цепочки и думал о том, что несовершенен всё же человек – не дала ему природа дара видеть в ночи, как, допустим, сова или волк, – не дала и всё, слеп «венец» в темноте, спеленут, а если совершит пару неловких шагов в сторону – как пить дать, покалечится. И силенок человеку природа тоже выделила немного, могла бы дать больше – могла бы, но не дала. Вот и начинает он, чуть что, кхекать и задыхаться.

Хотелось Мустафе услышать пение какой-нибудь ночной птицы, щебетанье птиц, не боящихся прохладной черноты, заполнившей пространство, но тихо было, словно покинули птицы этот край, а вместе с ними исчезли и звери. Только звон возникал иногда, словно бы приносясь издалека, возникал и пропадал.

Через два часа старший лейтенант остановил группу, объявил тихо:

– Привал! Можно поспать. Времени даю – полтора часа. Старшина, выставить пост!

– Есть выставить пост, – едва слышным эхом отозвался Охворостов.

– Смена – каждые полчаса.

Старший лейтенант забрался под высокий густой куст, достал из сумки карту, зашарил по ней узким лезвистым лучом карманного фонарика.

– Та-ак, та-ак, – пробормотал он едва слышно и выключил фонарик: шли они правильно. Подстелил под себя полу плащ-палатки, второй полкой крылся, поворочался немного и затих.

Идти вслепую дальше было нельзя. До городка, – судя по тому, что им пришлось форсировать вброд речушку, протекавшую в версте отсюда, оставалось идти примерно километр. Этот километр был опасным – и на патруль можно было нарваться, и на засаду налететь, и вообще угодить на каких-нибудь полоротых запоздалых немчиков, возвращающихся в казарму из полевого борделя: эти после подвигов постельных всегда бывают готовы совершать подвиги боевые.

Впрочем, разведчики Горшкова тоже были ребята не промах: и в борделе готовы побывать, и немцам по морде надавать...

Первым на дежурство старшина поставил Мустафу – усадил его на возвышенное место, под сосну, метрах в тридцати от места отдыха и погрозил пальцем:

– Смотри у меня, Мустафа... Бди!

– Бдю, – спокойно отозвался на это Мустафа, – и буду бдеть.

– Не проворонь немцев. Если придут – знаешь, что с ними делать, – Охворостов ещё раз погрозил Мустафе пальцем и исчез.

Мустафа остался один. Чернота ночи была неприятная, вязкая, похоже было, что ничего в ней нельзя разобрать, но Мустафа по себе знал: в любой лютой ночи можно увидеть то, что надо, нужно только вгрызться в неё, освоиться, слиться с чернильной плотью и всё будет в порядке. Главное, Мустафа знал, как это делается...

Ночной холодок постепенно отступал, выдавливаемый влажным предутренным теплом, в макушках деревьев начали возиться, вскрикивать просыпающиеся птицы, над далёким горизонтом вскоре обозначилась жёлтая узкая полоска – предвестник рассвета, но отсюда, из-за деревьев, её почти не было видно. Мустафа поглубже закутался в плащ-палатку, в распах между полами выставил ствол автомата, замер.

Лес постепенно оживал, в звуках, доносившихся до Мустафы, не было ни одного, что принадлежали бы человеку – ни шорохи в листве и в ветках, ни мягкое щёлканье гнилых сучков, ни скрипы в траве, ни бурчанье проснувшейся на старом дубе вороны – ничто из этих звуков на принадлежало «венцу природы». А раз человек ничем не обозначился, то, значит, и опасности не было.

Мысли Мустафы переключились на другое – на девушек-связисток. Конечно, Мустафа им не приглянулся, это понятно, – внешность не та, но самому Мустафе очень понравилась Инна: серьёзная, чуточку угрюмая, умеющая молчать. Последнее качество – очень ценное для женщин.

В зоне, случалось, тоже попадались красивые женщины, но не такие. А имя какое аристократическое у неё – Инна! Мустафа не выдержал, вздохнул.

В предутренней темноте образовывались серые провалы, в них что-то шевелилось, передвигалось с места на место, но Мустафа смотрел на эти перемещения спокойно: к человеку, к немцам, они не имели никакого отношения – подумаешь, лесовик продрал глаза и решил поиграть с ним, или этот самый... как его? – водяной, выбравшийся из недалёкой речки. Или же леший. Вся эта лихая братва не представляла для Мустафы ни интереса, ни опасности.

Красивая женщина досталась Мустафе в зоне, пожалуй, только один раз. Дело было под Вологодой, в образцовом мужском лагере, поделенном пополам: одна половина в нём значилась «политиками» и сидела по 58-й статье, вторая половина – уголовники. Сидели уголовники по самым разным статьям.

Лагерь считался образцовым, поскольку в него очень часто приезжало начальство: Москва-то рядом, одна ночь в мягком, обитом плюшем и бархатом купе и начальничек уже на месте – его торжественно встречают на вокзале, берут под белые руки, ведут к машине... Из машины – к обильному, с грибочками, ягодами и нежной северной рыбой сёмгой столу.

Но не только лагерь, где сидел Мустафа, – сугубо мужской, – был образцовым, рядом находился другой лагерь, также образцовый, населённый звонкоголосым полом – женским.

Лицезреть женский лагерь можно было только издали – охрана между лагерями стояла такая свирепая, что ни птица не могла пролететь, ни мышь проскользнуть по земле, и тогда эки-мужики нашли выход – прорыли в женский лагерь подземный ход, через лаз протащили верёвку, на верёвку навесили бадью.

Едва в лагерях давали отбой, как начиналось ночное веселье – в бадью садилась прихорошившаяся женщина и её дружно тащили в мужской лагерь. Ну а что происходило там – сами понимаете...

За один визит «командированная» получала несколько полновесных паек хлеба – самое дорогое, что могло быть у эков.

За ночь, случалось, человек пятнадцать, а то и больше, перемещались из одного лагеря в другой...

Однажды бадья доставила в мужской лагерь молчаливую девушку лет двадцати с угрюмыми серыми глазами и крепким обветренным лицом. Красивая была девушка. Увидев хихикающих, заросших жёсткой щетиной ээков, она испуганно сжалась.

– Мустафа, твоя очередь, – послышался голос старшего, и Мустафа, внутренне ликуя, взял девушку за локоть.

– Пойдём! Не бойся!

Та вздохнула зажато, произнесла про себя что-то невнятное и неожиданно упёрлась – похоже, только сейчас поняла, что ей предстоит перенести.

– Не бойся, – мягко проговорил Мустафа, – я тебе ничего плохого не сделаю... Не бойся!

Плечи у девушки задрожали, в горле раздался скрип, что-то в ней сломалось, и она, накренившись всем телом вперёд, пошла следом за Мустафой.

Он отдал девушке той всё, что у него имелось, весь хлеб, и не только хлеб – полкило сахара и кулёк с сухарями, который держал как НЗ...

Откуда-то из-за деревьев, раздвинув плотную серую массу, потянул ветерок, сдвинул в сторону горку комаров, сбившуюся около человека, Мустафа полной грудью всосал в себя свежий воздух, выдохнул – он словно бы хотел освободиться от прошлого, от воспоминаний, от тяжести, накопившейся в душе, услышал за спиной слабый хруст раздавленной ветки и стремительно, держа автомат перед собой, развернулся.

К нему шёл Арсюха Коновалов – смена, – катился колом, разгребая руками рассветную муть. Подкатившись к Мустафе, бросил по сторонам несколько быстрых, скользких, но очень цепких взглядов и поинтересовался шелестящим шёпотом:

– Ну как?

– Всё вроде бы тихо.

– Можешь быть свободен. – Арсюха не удержался, зевнул, так широко зевнул, что чуть не вывернул себе нижнюю челюсть, в скулах у него даже что-то закричало, он со стуком сомкнул зубы и махнул рукой. – Давай!

Было время самого сладкого сна – слаще не бывает, да и сон рассветный самый крепкий – разбудить может только стрельба.

В военном городке действительно располагался штаб какой-то крупной части, по улицам разъезжали мотоциклисты с пакетами, ходили патрули с оловянными бляхами на груди, из открытых окон доносился стрекот пишущих машинок.

– Перехватить бы одного мотоциклиста и назад, – озабоченно проговорил Арсюха Коновалов. – Неплохо было бы... А?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.